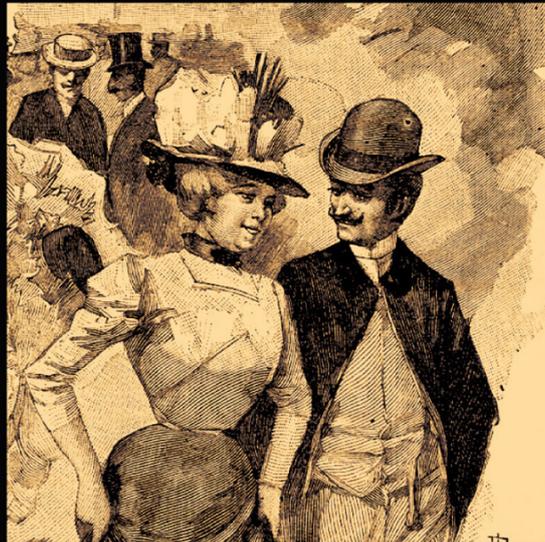


Ги  
де МОПАССАН

ПЫШКА



Мастера мировой классики

Ги д. Мопассан

**Пышка (сборник)**

«ВЕЧЕ»

## **Мопассан Г. д.**

Пышка (сборник) / Г. д. Мопассан — «ВЕЧЕ», — (Мастера мировой классики)

ISBN 978-5-4484-7265-7

Ги де Мопассан (1850 – 1893) – выдающийся французский писатель, чья творческая деятельность продолжалась всего одно десятилетие. Но он оставил такой яркий след, что без него невозможно себе представить европейскую литературу XIX века. Из всех французских писателей Мопассан и сегодня остается самым читаемым не только у себя на родине, но и за ее пределами, в том числе в России. В данный том собрания сочинений Мопассана вошли повесть «Пышка», а также ранние сборники его рассказов: «Воскресные прогулки парижского буржуа», «Заведение Телье» и «Мадемуазель Фифи».

ISBN 978-5-4484-7265-7

© Мопассан Г. д.

© ВЕЧЕ

## Содержание

Пышка	6
Воскресные прогулки парижского буржуа	30
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Ги де Мопассан

## Пышка (сборник)

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, оформление, 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

\* \* \*



*Guy de Maupassant*

## Пышка

В течение нескольких дней через город проходили остатки разбитой армии. Это было уже не войско, а беспорядочная орда. Люди с длинными грязными бородами, в мундирах, превратившихся в лохмотья, плелись вяло, без знамен, растеряв свои части. Видно было, что все подавлены, измучены, утратили способность соображать и принимать какие-либо решения, – и шли они лишь по привычке, падая от усталости, как только останавливались. Здесь были главным образом мобилизованные запасные, миролюбивые люди, спокойные рантье, сгибавшиеся теперь под тяжестью ружья; были еще молодые солдатики подвижной гвардии, легко воодушевляющиеся, но и легко поддающиеся страху, одинаково готовые и к атаке и к бегству. Среди них попадались группы солдат в красных штанах – остатки какой-нибудь дивизии, разбитой в большом сражении; артиллеристы в темных мундирах, затерявшиеся в массе разномастных пехотинцев; а кое-где сверкала и каска тяжело ступавшего драгуна, с трудом поспешавшего за более легким шагом пехоты.

Проходили отряды похожих на бандитов вольных стрелков, носившие героические клички: «Мстители за поражение», «Граждане могилы», «Союзники в смерти».

Их командиры – бывшие торговцы сукном, зерном, салом или мылом, случайные воители, получившие звание офицеров кто за деньги, кто за длинные усы, – люди, обвешанные оружием, одетые в тонкое сукно, расшитое галунами, говорили громовыми голосами, обсуждали план кампании и хвастливо утверждали, что они одни держат на своих плечах погибающую Францию; а между тем они побаивались подчас даже собственных солдат, бродяг и грабителей, нередко отчаянно храбрых, и отпетых мазуриков.

Ходили слухи, что не сегодня завтра пруссаки вступят в Руан.

Национальная гвардия, в течение двух месяцев с большой осторожностью производившая разведку в окрестных лесах, иногда подстреливая при том своих же часовых и готовясь к бою всякий раз, как где-нибудь в кустах зашевелится кролик, – теперь разошлась по домам. Сразу исчезло оружие, мундиры, все смертоносные атрибуты, еще недавно наводившие страх на межевые столбы по большим дорогам на три мили вокруг.

Наконец последние французские солдаты перешли Сену, направляясь через Сен-Север и Бур-Ашар в Понт-Одемер. Позади всех между двумя адъютантами шел пешком генерал, впавший в полное отчаяние. Он ничего не мог предпринять с этими жалкими разрозненными остатками армии, да и сам потерял голову среди полного разгрома нации, привыкшей побеждать, а теперь, несмотря на свою легендарную храбрость, терпевшей столь катастрофическое поражение.

Над городом нависла глубокая тишина, молчаливое, полное ужаса ожидание. Многие из ожиревших буржуа, обабившиеся за своими прилавками, с тоскливой тревогой ожидали победителей, дрожа от страха, боясь как бы их вертела и большие кухонные ножи не были приняты за оружие.

Жизнь словно остановилась: лавки были закрыты, улица нема и пустынна. Лишь изредка какой-нибудь обыватель, напуганный этим безмолвием, торопливо пробирался вдоль стен.

Ожидание было до того томительно, что многие желали скорейшего прихода неприятеля.

На следующий день после ухода французских войск небольшой отряд улан, неизвестно откуда явившийся, быстро промчался через город. Спустя короткое время со склонов Сент-Катрин скатилась на город черная лавина, а со стороны Дарнеталя и Буагильома показались два других потока завоевателей. Авангарды всех трех корпусов одновременно сошлись на площади у городской ратуши, а из всех соседних улиц надвигалась германская армия, развертывая свои батальоны, под тяжелым и мирным шагом которых гудела мостовая.

Команда на незнакомом гортанном языке разносилась вдоль домов, которые казались покинутыми, вымершими; но из-за закрытых ставен множество глаз следило за этими победителями, которые по «праву войны» получили теперь власть над городом, над имуществом и жизнью граждан. Жители в темноте своих комнат были охвачены тем паническим ужасом, который сопутствует стихийным бедствиям, несущим гибель, великим катаклизмам, перед которыми бессильна вся человеческая мудрость и мощь. Такое ощущение появляется всегда, когда ниспровергается установленный порядок вещей, когда безопасности больше не существует, когда все, что охранялось законами людей или природы, отдано на произвол бессмысленной, жестокой и грубой силы. Землетрясение, погребавшее целое население под рухнувшими домами; вышедшая из берегов река, уносящая трупы людей вместе с тушами быков и вырванными из крыш балками; или покрытая славой армия, которая истребляет тех, кто защищается, и уводит в плен остальных, которая грабит во имя меча и под грохот орудий возносит хвалу Богу, – все это одинаково грозные бедствия, подрывающие всякую веру в извечную справедливость, всю ту веру, которую внушают нам, в покровительство неба и могущество человеческого разума.

Между тем в каждый дом стучались и затем входили небольшие отряды. После вторжения началась оккупация. Теперь на побежденных возлагалась обязанность угождать победителям.

Через некоторое время первый страх прошел и восстановилось спокойствие. Во многих домах прусский офицер обедал за одним столом с хозяевами. Иногда он оказывался человеком благовоспитанным и из вежливости выражал сочувствие Франции, уверяя, что ему тяжело участвовать в этой войне. Такие чувства вызвали признательность. К тому же ведь не сегодня завтра могло понадобиться его покровительство. Ухаживая за ним, можно было, пожалуй, избавиться от нескольких лишних солдатских ртов. Да и к чему оскорблять тех, от кого всецело зависит наша участь? Это было бы не столько смелостью, сколько безрассудством. А безрассудная отвага уже не является больше недостатком руанских буржуа, как некогда, во времена героической обороны, прославившей их город. Наконец, приводился самый убедительный довод, продиктованный французской учтивостью: быть вежливым с иностранным солдатом у себя дома вполне допустимо, лишь бы не проявлять дружеской близости по отношению к нему публично. На улице делали вид, что незнакомы с постояльцем, а дома с ним охотно беседовали, и с каждым вечером немец все дольше засиживался, греясь у общего очага.

Город мало-помалу принял свой обычный вид. Французы все еще почти не показывались, но улицы кишели прусскими солдатами. В конце концов, командиры голубых гусар, надменно волочившие по мостовой свои длинные орудия смерти, выказывали по отношению к простым гражданам не многим больше презрения, чем командиры французских стрелков, посещавшие год назад те же кафе.

И однако в воздухе носилось что-то неуловимое, неведомое, ощущалась какая-то невыносимо чуждая атмосфера, словно какой-то запах, разносящийся всюду запахом вторжения. Он наполнял общественные места и жилища, придавал какой-то привкус пище, создавал впечатление, будто путешествуешь где-то далеко, среди диких и опасных племен.

Завоеватели требовали денег, много денег. Жители неизменно платили. Правда, они были достаточно богаты; но чем нормандский купец состоятельнее, тем тяжелее ему всякая жертва, тем сильнее он страдает, когда какая-нибудь частица его богатства переходит в руки другого.

А между тем за городом в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах, то убитых ударом кулака, то зарезанных, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и

законной мести, безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела дня, и лишенных ореола славы.

Ибо всегда найдется несколько отчаянных смельчаков, вдохновляемых ненавистью к чужеземцу и готовых умереть за идею.

Так как немцы хотя и подчинили город железной дисциплине, но не совершали вовсе тех зверств, которые приписывала им молва на протяжении всего их победного шествия, жители Руана приободрились, и местные коммерсанты снова затосковали по своей торговле. У некоторых из них были крупные дела в Гавре, занятом французскими войсками, и они решили сделать попытку добраться до этого порта, проехав сухим путем до Дьеппа, а дальше – морем.

Пустили в ход знакомства с немецкими офицерами, и от командующего армией было получено разрешение на выезд.

Для этой поездки решили воспользоваться большим четырехконным дилижансом, и десять человек заказали места у его владельца. Решено было выехать во вторник пораньше, до рассвета, чтобы избежать стечения народа.

Земля уже с некоторого времени была скована морозом, а в понедельник около трех часов дня с севера надвинулись тяжелые, черные тучи и принесли снег, который шел не переставая весь вечер и всю ночь.

Утром, в половине пятого, путешественники собрались во дворе гостиницы «Нормандия», откуда отправлялся дилижанс.

Все были еще полусонные и дрожали от холода под своими пледями. В темноте трудно было разглядеть друг друга; и все эти фигуры, закутанные в тяжелые зимние одежды, напоминали тучных священников в длинных сутанах. Но вот два человека узнали друг друга, к ним подошел третий. Разговорились.

– Я еду с женой, – сказал один.

– Я тоже.

– И я.

Первый добавил:

– Мы не вернемся в Руан; если пруссаки дойдут до Гавра, мы переберемся в Англию.

У всех были одинаковые планы, так как все это были люди одного склада.

Дилижанс все еще не закладывали. По временам из темной двери конюшни показывался свет от небольшого фонаря в руках конюха и тотчас же исчезал в другой двери. В конюшне слышен был стук копыт, приглушенный раскиданной в стойлах подстилкой, а из глубины доносился чей-то голос, покрикивавший на лошадей. Слабое позвякивание бубенчиков возвестило, что расправляют сбрую. Это позвякивание скоро перешло в непрерывный, отчетливый звон, который в такт с движениями лошади то замирал, то звучал снова, внезапно и резко, сопровождаемый глухим стуком подков о землю.

Вдруг дверь конюшни захлопнулась, и шум сразу затих. Молчали и окоченевшие от холода пассажиры, застыв в неподвижных позах.

Белые хлопья снега все падали и падали на землю. Их сплошная блестящая завеса сглаживала все очертания, обволакивала предметы как бы ледяной пеной. И в глубокой тишине города, безмолвного под этим зимним саваном, слышался лишь смутный, неуловимый, трепетный шорох падающего снега, скорее ощущение, чем звук, шелест движущихся легких пушинок, наполнявших, казалось, все пространство, засыпавших весь мир.

Наконец снова появился человек с фонарем. Он вел на поводу лошадь, которая шла нехотя, с унылым видом. Поставив ее в дышло и подвязав постромки, он долго возился около нее, пока приладил сбрую, так как ему приходилось действовать только одной рукой – другая была занята фонарем. Отправляясь за второй лошастью, он заметил неподвижную группу пассажиров, уже совсем белых от снега, и сказал:

– Отчего вы не сядете в дилижанс? По крайней мере, укроетесь от снега...

Никому из них, очевидно, это раньше не приходило в голову, и теперь все поспешили к карете. Трое мужчин усадили своих жен и влезли вслед за ними; оставшиеся места заняли другие укутанные фигуры, едва видные в темноте, не обменявшись при том ни словом.

Пол дилижанса был устлан соломой, в которой утопали ноги. Дамы, сидевшие в глубине, зажгли захваченные ими с собой медные грелки с бездымным углем и в течение некоторого времени вполголоса перечисляли все их достоинства, повторяя то, что всем было давно известно.

В дилижанс впрягли ввиду трудной дороги шесть лошадей вместо обычной четверки, и, наконец, голос снаружи спросил:

– Все пассажиры сели?

– Все, – ответили изнутри, и дилижанс тронулся.

Ехали очень медленно, шагом. Колеса увязали в снегу; весь кузов кряхтел и глухо поскрипывал; ноги лошадей скользили, они храпели, от них поднимался пар. Огромный бич кучера беспрестанно шелкал, взлетая то с одной, то с другой стороны, свиваясь и развиваясь, как тонкая змея, и вдруг неожиданно обрушивался на один из колыхавшихся впереди крупов, после чего тот напрягался в новом усилии.

Между тем незаметно наступало утро. Легкие снежные хлопья, которые один из путешественников, истый руанец, сравнил с дождем из хлопка, перестали падать. Мутный рассвет просачивался сквозь тяжелые, темные облака, от мрака которых еще ослепительнее казалась снежная белизна полей, где мелькал то ряд высоких деревьев, одетых инеем, то хижина под шапкой снега.

При печальном свете занимающейся зари пассажиры в дилижансе с любопытством разглядывали друг друга.

В самой глубине, на лучших местах, дремали, сидя друг против друга, супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон. Луазо, бывший когда-то приказчиком, откупил у своего хозяина, когда тот разорился, его предприятие и разбогател. Он продавал мелким сельским лавочникам по очень дешевой цене очень плохое вино и слыл среди друзей и знакомых ловким пройдохой, настоящим нормандцем, плутом и весельчаком.

Репутация жулика так прочно за ним установилась, что, когда на одном вечере в префектуре местная знаменитость, господин Турнель, сочинитель песенок и басен, человек острого и язвительного ума, видя, что дамы скучают, предложил им сыграть в «L'oiseu vole»<sup>1</sup>, острота эта облетела залы префектуры, затем пошла гулять по всем салонам города, и еще целый месяц над ней хохотали во всей округе.

Луазо славился еще всевозможными проделками и шутками, иногда удачными, иногда плоскими. Говоря о нем, непременно добавляли: «Уморительный этот Луазо!»

Коротенький, с большим животом, он походил на шар, увенчанный багровой физиономией с седеющими бакенбардами.

Жена его, рослая, сильная, с громким голосом и решительным характером, представляла элемент порядка и точности в их торговом деле, тогда как муж оживлял его своей веселой энергией.

Рядом с четой Луазо восседал полный достоинства господин Карре-Ламадон, представитель более высокого сословия, важное лицо, игравшее видную роль в текстильной промышленности, владелец трех бумагопрядильных фабрик, офицер ордена Почетного легиона и член Генерального совета. За все время Империи он оставался вождем благожелательной оппозиции с той единственной целью, чтобы получить поддержку со стороны того режима, с которым он, по его собственному выражению, всегда боролся лишь рыцарским оружием. Госпожа Карре-

---

<sup>1</sup> Игра слов: L'oiseau vole – птица летит (название игры), Loiseau vole – Луазо ворует.

Ламадон, бывшая значительно моложе своего мужа, служила отрадой и утешением для всех офицеров из хороших семей, попадавших в руанский гарнизон.

Она сидела против супруга, прелестная, миниатюрная, вся утопая в своих мехах, и с сокрушением оглядывала убогую внутренность экипажа.

Ее соседи, граф Юбер де Бревиль с супругой, принадлежали к одной из самых старинных и знатных фамилий Нормандии. Граф, старый аристократ с величественной осанкой, стался путем разных ухищрений в туалете подчеркнуть свое природное сходство с Генрихом IV, которого славное семейное предание называло виновником беременности одной из дам рода де Бревиль. Муж ее получил за это графский титул и был сделан губернатором провинции.

Граф Юбер, как и Карре-Ламадон, был членом Генерального совета, в котором он представлял партию орлеанистов своего округа. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но, так как графиня держала себя с достоинством знатной дамы, лучше всех умела принимать гостей и даже, как говорили, была некогда возлюбленной одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать носила ее на руках, и салон ее считался первым во всем крае, единственным, где еще сохранилась былая галантность и куда далеко не все имели доступ.

Состояние Бревилей, заключавшееся в землях и поместьях, приносило им, как говорили, до пятисот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть человек, занявшие всю глубину кареты, составляли обеспеченную, влиятельную и благонамеренную часть общества. То были люди почтенные, пользовавшиеся авторитетом, люди религии и принципов.

По странной случайности все три женщины оказались на одной скамье, и рядом с графиней де Бревиль сидели две монахини, все время перебиравшие четки и бормотавшие молитвы. У одной из них, старухи, лицо было так изрыто оспой, словно в него выпустили в упор целый заряд дроби. Другая, слабенькая и тщедушная, с красивым болезненным лицом и чахоточной грудью, казалась иссушенной всепожирающей верой, которая создает мучеников и фанатиков.

Сидевшие против монахинь мужчина и женщина привлекали к себе общее внимание.

Мужчина был хорошо известный демократ Корнюде, предмет ужаса всех почтенных людей. В течение двадцати лет он купал свои длинные рыжие усы в пивных кружках всех демократических кабачков. С компанией друзей и соратников он проел довольно большое состояние, оставленное ему отцом, бывшим кондитером, и с нетерпением ожидал республики, чтобы занять наконец подобающее положение, заслуженное столь обильными революционными возлияниями. В день 4 сентября, вероятно в результате чьей-то шутки, он вообразил, что назначен префектом; но когда он хотел приступить к исполнению обязанностей, то чиновники, оставшиеся единственными хозяевами канцелярии, отказались его признать, и ему пришлось retirроваться. В общем, Корнюде был славный малый, безобидный и услужливый. В последнее время он очень рьяно занялся организацией обороны. Он приказал рыть ямы на полях и срубить все молодые деревья в окрестных рощах, усеять западнями все дороги и, вполне удовлетворенный этими приготовлениями, при приближении неприятеля поспешно отступил к городу. Сейчас он полагал, что будет более полезен в Гавре, где, вероятно, также понадобится обнести город окопами.

Женщина, сидевшая рядом с ним, принадлежала к числу особ легкого поведения и славилась своей чрезмерной для ее возраста полнотой, за которую ее прозвали Пышкой. Маленькая, круглая, как шар, заплывшая жиром, с пухлыми, перехваченными в суставах пальцами, напоминавшими связку коротеньких сосисок, с тугой и лоснящейся кожей, с огромной грудью, выступающей под платьем, она тем не менее была весьма привлекательна и пользовалась большим успехом благодаря своей привлекательной свежести. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься пион; в верхней части этого лица выделялась пара великолепных черных глаз, осененных густыми и длинными ресницами, бросавшими тень на щеки, а в

нижней – прелестный ротик, маленький, влажный, словно созданный для поцелуя, с мелкими и блестящими зубками.

Как уверяли, она обладала еще и другими неоценимыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье и слова «проститутка», «позор» слышались так явственно, что Пышка подняла голову. Она обвела соседей таким смелым и вызывающим взглядом, что сразу воцарилось молчание и все опустили глаза. Один только Луазо игриво поглядывал на нее.

Но вскоре между тремя дамами, которых присутствие этой особы сразу сблизило, превратив чуть ли не в интимных подруг, снова завязался разговор. Они почувствовали, что им, добродетельным супругам, следует заключить союз против этой лишенной стыда продажной твари. Ибо законная любовь всегда с презрением смотрит на свою свободную сестру.

Трое мужчин, которых инстинкт консерватизма тоже объединил при виде Корнюде, завели беседу о денежных делах, в которой звучало некоторое высокомерие по отношению к беднякам. Граф Юбер рассказывал о больших убытках, которые он потерпел из-за пруссаков, – о расхищенном скоте, погибшем урожае, но в голосе его слышалась уверенность крупного землевладельца и миллионера, которого эти потери могли стеснить разве на какой-нибудь год, не больше; господин Карре-Ламадон, крупная величина в текстильной промышленности, позаботился на всякий случай перевести в Англию шестьсот тысяч франков, чтобы не бояться сюрпризов в это смутное время. Что касается Луазо, то он сумел сбыть французскому интендантству все оставшиеся у него в погребах простые вина, и теперь ему причиталась от казны огромная сумма, которую он и рассчитывал получить в Гавре.

Все трое дружески переглядывались. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя как бы братьями по богатству, членами одного великого масонского союза – союза тех, кто владеет, тех, у кого в карманах звенит золото.

Дилижанс подвигался так медленно, что к десяти часам утра они не проехали и четырех миль. Мужчинам пришлось три раза вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали беспокоиться, так как они рассчитывали завтракать в Тоте, а между тем теперь уже нечего было надеяться добраться туда раньше ночи. Все смотрели на дорогу в надежде увидеть какой-нибудь кабачок, как вдруг дилижанс завяз в снежном сугробе, и понадобилось два часа, чтобы вытащить его оттуда.

Голод усиливался, портил всем настроение; а на дороге – ни одного трактира, ни одного кабачка: близость пруссаков и проходившие здесь голодные французские солдаты разогнали всех торговцев.

В поисках чего-нибудь съестного мужчины обегали все придорожные фермы, но не достали даже хлеба. Недоверчивые крестьяне, опасаясь грабежей, попрятали все запасы, так как изголодавшиеся солдаты отнимали у них силой все, что находили.

Около часу дня Луазо объявил, что у него положительно подвело живот. Другие давно уже испытывали такие же муки; голод все сильнее давал себя знать и заставил умолкнуть все разговоры.

Время от времени кто-нибудь зевал, и почти тотчас же другой следовал его примеру. Каждый зевал по-своему, в зависимости от характера, воспитания и общественного положения: кто широко и шумно, кто – тихонько, быстро прикрывая рукой разинутый рот, из которого шел пар.

Пышка несколько раз нагибалась, как бы ища что-то на полу, под своими юбками. Но всякий раз она с минутку колебалась, поглядывала на соседей и снова выпрямлялась. Все лица вокруг побледнели и вытянулись. Луазо объявил, что он охотно заплатил бы тысячу франков за маленький окорок. Жена его сделала невольный жест, как бы собираясь протестовать, но потом успокоилась. Ей всегда было тяжело слышать, что люди сорят деньгами, и даже шуток на этот счет она не понимала.

– Должен сознаться, что я чувствую себя не особенно хорошо, – сказал граф. – Как это я не догадался захватить чего-нибудь съестного?!

Остальные мысленно упрекали себя в том же. У Корнюде нашлась полная фляжка рому; он предложил ее спутникам, но все холодно отказались. Только Луазо отхлебнул из фляжки два раза и, возвращая ее владельцу, с благодарностью сказал:

– Это очень недурно: и согревает, и заглушает голод.

Выпитый ром привел его в хорошее настроение, и он предложил сделать так, как рассказывается в известной песне о корабле: съесть самого жирного из путешественников. Этот намек на Пышку пришлось не по вкусу благовоспитанной компании. Никто не откликнулся на шутку, один только Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, спрятав руки в длинные рукава, сидели неподвижно, упорно не поднимая глаз и, вероятно, взывая к небу о помощи в ниспосланном им испытании.

Наконец в три часа, когда экипаж находился среди бесконечной равнины, где не видно было ни единой деревушки, Пышка быстро нагнулась и достала из-под скамьи корзину, покрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и красивый серебряный бокал, затем большую миску, где лежали в застывшем соусе два цыпленка, разрезанные на куски; в корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пирожки, фрукты, сласти – провизия, запасенная дня на три и с таким расчетом, чтобы не было надобности пользоваться кухней постоянных дворов. Среди свертков с провизией торчали горлышки четырех бутылок. Пышка взяла из миски крылышко цыпленка, достала маленький хлебец – из тех, что в Нормандии называют «режанс», и принялась аккуратно есть.

Все взгляды устремились на нее. От аппетитного запаха раздувались ноздри, рты наполнялись слюной и мучительно сжимались челюсти. Презрение дам к «этой девке» превратилось в яростную злобу. Казалось, они готовы были ее убить, выбросить вон из кареты в снег вместе с ее бокалом, с ее корзинкой и со всей провизией.

Между тем Луазо пожирал глазами миску с цыпятами. Он сказал:

– Вот это отлично, сударыня!.. Вы оказались предусмотрительнее нас. Есть же люди, которые всегда обо всем подумают!

Пышка, подняв голову, обратилась к нему:

– Не угодно ли и вам, сударь? Ведь нелегко поститься с самого утра.

Луазо поклонился:

– Честное слово, не откажусь; я не в силах больше терпеть. На войне – как на войне! Не правда ли, сударыня? – И, бросив на окружающих взгляд, прибавил: – Как отрадно в такие минуты встретить услужливого человека.

Он разложил на коленях газету, чтобы не запачкать брюк, захватил ножиком, который всегда носил в кармане, цыплячью ножку, покрытую желе, вонзил в нее зубы и стал жевать с таким явным наслаждением, что по дилижансу пронесся глубокий мучительный стон.

Тогда Пышка с ласковым смирением предложила монахиням разделить с нею завтрак. Обе тотчас же согласились и, не поднимая глаз, пробормотав какую-то благодарность, стали быстро есть. Корнюде также не отказался от предложенного соседкой угощения и вместе с монахинями устроил нечто вроде общего стола, разостлав на коленях газеты.

Рты беспрестанно открывались и закрывались, жадно поглощая пищу, жевали, глотали. Луазо в своем углу старался вовсю и тихонько уговаривал жену последовать его примеру. Она долго отказывалась, но наконец, после сильного спазма в желудке, не выдержала. Тогда муж, подбирая изысканные выражения, спросил у «очаровательной попутчицы», не разрешит ли она предложить кусочек чего-нибудь госпоже Луазо.

Пышка, приветливо улыбаясь, ответила:

– Ну конечно, сударь. – И протянула ему миску с цыпятами.

Когда откупорили первую бутылку бордо, произошло некоторое замешательство: на всех имелся только один бокал. Из него пили по очереди, всякий раз вытирая его. Только Корнюде – вероятно, из учтивости – прикоснулся губами к краю, еще влажному от губ своей соседки.

Окруженные жующими людьми, вдыхая запахи пищи, граф и графиня де Бревиль вместе с супругами Карре-Ламадон терпели ту ужасную пытку, которую называют «муками Тантала». Вдруг молодая жена фабриканта испустила такой глубокий вздох, что все повернулись к ней. Она была бледна как снег, расстилавшийся вокруг экипажа; глаза ее закрылись, голова склонилась на грудь; она лишилась чувств. Муж в отчаянии умолял о помощи. Все растерялись, но тут старшая из монахинь, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам бокал Пышки и влила ей в рот несколько капель вина. Хорошенькая госпожа Карре-Ламадон зашевелилась, открыла глаза, улыбнулась и голосом умирающей объявила, что ей уже гораздо лучше. Все же монахиня, боясь, как бы обморок не повторился, заставила ее выпить целый стакан вина, заметив:

– Это от голода, только и всего.

Тогда Пышка, покрасневшая и смущенная, пролепетала, глядя на ничего еще не евших четырех пассажиров:

– Ах, боже мой, если бы только я смела, я бы предложила этим господам...

И замолчала, боясь услышать оскорбительный отказ. Но тут вмешался Луазо:

– Право же, в подобных случаях все люди братья и обязаны помогать друг другу. Да ну же, сударыни, бросьте церемонии, берите, черт возьми! Кто знает, доберемся ли еще мы до места, где можно будет получить ночлег? При такой езде мы будем в Тоте не раньше чем завтра в полдень.

Однако они все еще колебались. Ни у кого из них не хватало духу принять на себя ответственность и сказать «да».

Наконец граф положил этому конец. Обратясь к оробевшей толстухе, он сказал с величественным видом вельможи:

– Мы принимаем ваше предложение с благодарностью, сударыня.

Труден первый шаг. Лишь только Рубикон был перейден, все перестали стесняться. Корзинка Пышки быстро опорожнилась. В ней кроме цыплят был еще страсбургский пирог, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, красанские груши, пряники, пирожные и полная банка маринованных огурчиков и лука. Пышка, как все женщины, обожала эти неудобоваримые яства.

Так как, истребляя запасы этой девушки, неудобно было ее не замечать, то с ней заговорили, сперва несколько сдержанно, потом, так как Пышка держала себя прекрасно, беседа стала более непринужденной. Графиня де Бревиль и госпожа Карре-Ламадон, обладавшие большим светским тактом, выказали по отношению к Пышке изысканную любезность. Особенно очаровательна была графиня со своей благосклонной снисходительностью знатной дамы, которой не может коснуться никакая грязь. И только толстая госпожа Луазо, грубая, как жандарм, оставалась все такой же нелюбезной: она мало говорила, но зато много ела.

Разговор шел, разумеется, о войне. Рассказывали о зверствах пруссаков, о храбрости французов; и все эти люди, бежавшие сами от врага, превозносили чужую доблесть. Затем перешли к личным делам каждого, и тут Пышка, с неподдельным волнением и с той горячностью, с какой такие девушки выражают иногда свои естественные порывы, рассказала, почему она уехала из Руана.

– Сперва я думала остаться, – говорила она. – Дом у меня был полон всяких запасов, и я предпочла бы кормить несколько солдат, чем уезжать из родных мест бог весть куда. Но как только я увидела этих пруссаков – чувствую: нет, не стерпеть! Кровь во мне так и закипела. Целый день я плакала от стыда. Эх, будь я мужчина, я бы им показала!.. Если бы моя горничная не держала меня за руки, когда я смотрела из окна на этих жирных боровов в остроконечных

касках, я бы всю свою мебель перешвыряла им в спину... Потом несколько человек из них пришло ко мне на постой, но я первому же вцепилась в горло. Что ж, разве немца не так же легко задушить, как и всякого другого? Я бы его прикончила, если бы меня не оттащили за волосы. Ну а после этого пришлось прятаться... И как только представился случай, я уехала.

Пышку осыпали похвалами. Она выросла в глазах своих спутников, далеко не проявивших такой отваги. А Корнюде слушал ее с одобрительной и благосклонной улыбкой – как священник внимает верующему, который славит Господа. Ведь длиннородые демократы считают патриотизм своей монополией, так же как люди в рясах – религию. Он в свою очередь заговорил тоном проповедника, напыщенными фразами тех воззваний, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, в которой разносил в пух и прах «этого негодяя Баденге».

Но тут Пышка возмутилась, так как она была бонапартисткой. Покраснев, как вишня, она прокричала, заикаясь от негодования:

– Хотела бы я видеть, что бы вы сделали на его месте, вы! Могу себе представить! Ведь это вы предали его!.. Если бы нами стали управлять такие болтуны, как вы, пришлось бы всем бежать из Франции.

Корнюде невозмутимо выслушал это, усмехаясь с видом презрительного превосходства, но чувствовалось, что сейчас начнется перебранка; тогда вмешался граф, который не без труда успокоил расхोлившуюся девушку, заявив авторитетным тоном, что всякое искреннее убеждение достойно уважения.

Однако графиня и жена фабриканта, питавшие органическую ненависть так называемых приличных людей к республике и свойственную женщинам инстинктивную любовь к внешнему блеску деспотических монархий, почувствовали невольную симпатию к этой сохранившей достоинство проститутке, взгляды которой были так похожи на их собственные.

Корзина Пышки опустела. Десять человек без труда уничтожили ее содержимое, сожалея, что она не оказалась еще больших размеров. Разговор некоторое время еще продолжался, но после того, как все наелись, – уже с меньшим оживлением.

Надвигалась ночь, становилось все темнее, и, несмотря на свою полноту, Пышка дрожала от холода, который всегда ощущается нами сильнее во время пищеварения. Госпожа де Бревиль предложила ей свою грелку, которую в течение дня уже несколько раз наполняли углем, и девушка тотчас же взяла ее, так как у нее заоченели ноги. Госпожа Карре-Ламадон и госпожа Луазо дали свои грелки монахиням.

Кучер зажег у кареты фонари. Их яркий свет озарил облако пара над потными крупами коренников и снежную пелену по обеим сторонам дороги, словно развертывавшуюся под этим движущимся светом.

Внутри дилижанса уже ничего нельзя было различить. Вдруг между Пышкой и Корнюде поднялась какая-то возня. И Луазо, рыскавшему глазами в темноте, показалось, что длиннородый сосед Пышки быстро откинулся назад, как если бы его бесшумно угостили увесистым тумачком.

Впереди на дороге замелькали какие-то светлые точки. Это был Тот. Путешествие продолжалось уже одиннадцать часов, а считая еще два часа, потраченные на четыре остановки, чтобы дать лошадям поесть и передохнуть, – тринадцать часов. Дилижанс въехал в местечко и остановился перед «Коммерческой гостиницей».

Дверца распахнулась – и вдруг хорошо знакомый звук заставил всех пассажиров содрогнуться. То был звон волочащейся по земле сабли. Вслед за этим грубый голос что-то прокричал по-немецки.

Несмотря на то что дилижанс остановился, никто из пассажиров не вылезал. Они как будто боялись, что их зарежут тут же при выходе. Но появился кучер с фонарем и внезапно

осветил всю внутренность кареты и два ряда ошеломленных лиц с разинутыми ртами и вытаращенными от ужаса и удивления глазами.

Рядом с кучером, ярко освещенный фонарем, стоял немецкий офицер – высокий молодой человек, очень тонкий и белокурый, затянутый в мундир, как барышня в корсет. Надетая набекрень плоская лакированная фуражка делала его похожим на рассыльного в английском отеле. Непомерно длинные прямые усы свисали по обе стороны рта, все более и более утончаясь и заканчиваясь одним белокурым шнурком, столь тонким, что конец его был совсем незаметен. Эти усы, казалось, давили на углы рта, оттягивали щеки, а у губ образовывали складку.

Офицер по-французски, но с эльзасским акцентом предложил приехавшим выйти из кареты, сказав властным тоном:

– Не угодно ли вам выйти, господа?

Первыми вышли монахини с покорным видом праведниц, привыкших к послушанию. За ними – граф и графиня, потом фабрикант с женой и Луазо, подталкивавший впереди себя свою грузную половину. Едва ступив на землю, он, не столько из вежливости, сколько из осторожности, сказал офицеру:

– Здравствуйте, сударь.

Но тот с дерзким высокомерием всесильного человека взглянул на него, не отвечая.

Пышка и Корнюде, несмотря на то что они сидели у самой двери, вышли последними, гордые и надменные перед лицом врага. Толстушка пыталась овладеть собой и казаться спокойной. Демократ трагическим движением слегка дрожавшей руки тербил свою длинную рыжую бороду. Оба старались сохранить достоинство, сознавая, что в подобных случаях каждый до некоторой степени является представителем своей родины. Оба они были возмущены приниженностью своих спутников. Пышка старалась выказать больше гордости, чем ее спутницы, эти порядочные женщины, а Корнюде, считая, что должен служить примером, всем своим видом как бы продолжал ту миссию сопротивления, которую он начал, роя на дорогах окопы.

Все приехавшие вошли в просторную кухню гостиницы, и немец потребовал, чтобы ему предъявили подписанные командующим разрешения на выезд, в которых были указаны имя, занятие и приметы каждого. Он долго рассматривал всех, сличая эти приметы, потом сказал отрывисто:

– Все в порядке. – И исчез.

Только теперь путешественники вздохнули свободно. Они были еще голодны и заказали ужин. Его обещали приготовить через полчаса, и, пока две служанки хлопотали на кухне, все общество отправилось осматривать свои комнаты. Комнаты эти выходили в длинный коридор, кончавшийся дверью с выразительным номером на матовом стекле.

Когда наконец стали садиться за стол, появился сам хозяин гостиницы.

Это был страдавший одышкой толстяк, бывший лошадиный барышник; он постоянно хрипел, сипел, покашливал от скопления мокроты в груди. От отца он унаследовал фамилию Фоланви.

Он спросил:

– Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?

Пышка вздрогнула и обернулась:

– Это я.

– Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

– Со мной?

– Да, с вами, если вы действительно Элизабет Руссе.

Она смутилась, подумала с минуту, потом решительно объявила:

– Хоть бы и так, но я к нему не пойду.

Все заволновались. Приказ обсуждали на все лады, искали объяснений. Граф подошел к Пышке.

– Вы не правы, сударыня, так как ваш отказ может навлечь серьезные неприятности не только на вас, но и на всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. И, право же, это вам ничем не грозит: вернее всего, дело идет о какой-нибудь упущенной формальности.

Все дружно поддержали графа: стали просить ее, убеждать ее, увещевать, опасаясь осложнений, которые могло вызвать ее упорство. В конце концов ее уговорили.

Она сказала:

– Я это делаю только ради вас, честное слово.

Графиня пожала ей руку:

– И мы все вам за это благодарны.

Пышка вышла. Ее дожидались, не приступая к ужину. Каждый сокрушался, зачем не потребовали его вместо этой девушки, такой резкой и вспыльчивой, и мысленно готовил шаблонные фразы на случай, если бы и его вызвали к офицеру.

Через десять минут Пышка вернулась, багрово-красная, задыхаясь от гнева. Она бормотала, тяжело дыша:

– Ах, негодяй!.. Вот негодяй!..

Все окружили ее, желая узнать, в чем дело. Но она упорно отмалчивалась. Когда же граф стал настаивать, она ответила с большим достоинством:

– Нет, я не могу рассказать. Это никого не касается.

Все уселись вокруг высокой суповой миски, из которой распространялся запах капусты. Несмотря на только что пережитую тревогу, ужин прошел весело. Сидр оказался превосходным. Но только супруги Луазо и монахини из экономии пили его. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была своя особенная манера откупоривать бутылки, вспенивать жидкость и разглядывать ее, наклоняя стакан, который он затем поднимал к свету, чтобы лучше определить цвет пива. Когда он пил, его длинная борода, одного цвета с его любимым напитком, казалось, вздрагивала от наслаждения. Он скашивал глаза, не отрывая их от кружки, и имел вид человека, выполняющего свое единственное назначение в этом мире. Можно было подумать, что он в это время мысленно старался связать воедино две великие страсти своей жизни – светлое пиво и революцию. И в самом деле он не мог наслаждаться первым, не думая о второй.



*Через десять минут Пышка вернулась, багрово-красная, задыхаясь от гнева*

Супруги Фоланви ужинали в конце стола. Муж, хрипевший, как испорченный паровоз, настолько задыхался, что не мог разговаривать во время еды. Зато жена ни на минуту не умол-

кала. Она описывала все свои впечатления от прихода пруссаков, подробно рассказывала, что они делали, что говорили. Она с ненавистью говорила о них, прежде всего потому, что они ей стоили денег, а во-вторых, потому, что ее двое сыновей были в армии. Рассказывая, она обращалась главным образом к графине, довольная тем, что может побеседовать со знатной дамой.

Потом, понизив голос, она перешла к некоторым щекотливым темам. Муж время от времени останавливал ее:

– Ты бы лучше придержала язык, мадам Фоланви...

Но она, не обращая на него внимания, продолжала:

– Да, сударыня, эти люди только и делают, что жрут картошку да свинину, свинину да картошку. И не верьте, когда вам будут говорить про их опрятность. Все это вздор. Пакостят повсюду, с позволения сказать... А посмотрели бы вы, как у них идет ученье целые дни напролет. Соберутся все в поле – и давай маршировать: то вперед, то назад, то туда, то сюда. Сидели бы лучше у себя дома да землю пахали или чинили бы дороги, что ли! Но от этих военных, скажу я вам, сударыня, никому никакой пользы. Их только тому и учат, что убивать, а бедный народ корми их. Я женщина старая, необразованная, но и я, видя, как они тут из сил выбиваются, топчутся до упаду с утра до вечера, не раз думаю: вот ведь есть люди – чего только не придумают, стараясь пользу принести, а другие в это время из кожи лезут, чтобы причинить побольше вреда. Нет, разве это не мерзость – убивать людей, все равно, кто бы они ни были, – пруссаки, англичане, поляки или французы? Когда вы мстите кому-нибудь за зло, то считают, что это дурно, и вас за это судят. А когда наших сыновей бьют, как дичь, из ружей, – это, видно, хорошо, раз награждают крестами того, кто перебил больше народу! Нет, что ни говорите, а мне этого не понять!

Раздался голос Корнюде:

– Война – варварство, когда нападают на мирных соседей. Но она – священный долг, когда защищают отечество.

Старая женщина покачала головой.

– Да, когда приходится защищаться – тогда другое дело. Но не лучше ли было бы убить всех королей, которые затевают войну для собственного удовольствия?

У Корнюде засверкали глаза.

– Браво, гражданка! – воскликнул он.

Карре-Ламадон глубоко задумался. Он был горячим поклонником знаменитых полководцев, и тем не менее здравые суждения этой крестьянки навели его на размышления о том, какое богатство могли бы принести стране все эти праздные и, следовательно, разорительные для нее руки, все эти силы, которые теперь расходуются непроизводительно; а если бы их применить в промышленности, они могли бы создать то, на завершение чего требуются века.

Луазо тем временем, встав со своего места, подсел к трактирщику и начал о чем-то с ним шептаться. Толстяк смеялся, плюясь и кашляя. Его огромное брюхо тряслось от хохота при шуточках собеседника. В заключение он заказал ему шесть бочек бордо к весне, когда пруссаки уйдут.

Как только ужин окончился, все пошли спать, так как были разбиты усталостью.

Но Луазо, кое-что заметивший, предоставил своей супруге улечься в кровать, а сам принялся прикладывать то ухо, то глаз к замочной скважине, стараясь, как он называл это, «проникнуть в тайны коридора».

Приблизительно через час он услышал шорох, поскорее прильнул глазом к скважине и увидел Пышку, казавшуюся еще полнее в голубом кашемировом пеньюаре, обшитом белыми кружевами. Со свечой в руке она направлялась к двери с круглой цифрой в конце коридора. Вслед за тем приоткрылась одна из боковых дверей, и, когда Пышка спустя несколько минут возвращалась обратно к себе в комнату, Корнюде, в подтяжках, последовал за ней. Они тихо обменялись несколькими словами, потом остановились. Пышка, видимо, решительно защи-

щала вход в свою комнату. Луазо, к своему огорчению, не мог ничего расслышать, но под конец они заговорили громче, и ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде с жаром настаивал:

– Да ну же, оставьте глупости... Что вам стоит?

Пышка с негодующим видом возразила:

– Нет, мой милый, бывают минуты, когда подобные вещи не делаются. К тому же здесь это был бы просто срам...

Он, очевидно, ничего не понимал и спросил:

– Почему?

Тогда она вышла из себя и еще более повысила голос:

– Почему? Вам непонятно почему? Когда пруссаки здесь, в доме, может быть, даже в соседней комнате?

Корнюде замолчал. Эта стыдливость проститутки, из патриотизма не желающей предаваться ласкам, когда рядом неприятель, должно быть, вновь пробудила в его душе заснувшее чувство чести. Он только поцеловал Пышку и на цыпочках вернулся к себе.

Луазо, возбужденный этой сценой, отошел от скважины, сделал антраша, потом повязал голову на ночь шелковым платком, приподнял одеяло, под которым скрывалась мощная фигура его спутницы жизни, и разбудил ее поцелуем, прошептав:

– Ты меня любишь, дорогая?

Во всем доме наступила наконец тишина. Но скоро откуда-то – не то из погреба, не то с чердака – стал доноситься могучий храп, ровный, монотонный; протяжный и глухой звук этот напоминал пыхтенье парового котла. Это храпел господин Фоланви.

Так как накануне было решено выехать в восемь часов утра, то на следующий день все общество к этому часу собралось на кухне. Однако дилижанс, занесенный снегом, торчал сиротливо посреди двора, без лошадей и без кучера. Последнего тщетно искали в конюшне, на сеновале, в каретном сарае. Тогда все мужчины решили отправиться на розыски в деревню. Выйдя из гостиницы, они очутились на площади, в конце которой виднелась церковь. По обеим сторонам тянулись ряды низеньких домов, около которых они заметили прусских солдат. Первый, попавшийся им на глаза, чистил картошку. Второй, подальше, убирал лавку парикмахера. Третий, обросший бородой чуть не до самых глаз, ласкал плачущего ребенка и, чтобы успокоить его, укачивал на руках. А толстые крестьянки, мужья которых были в действующей армии, знаками объясняли своим послушным победителям, что они должны сделать – наколоть ли дров, заправить ли суп или намолоть кофе. Один солдат даже стирал белье для своей хозяйки, совсем дряхлой и беспомощной.

Граф, удивленный тем, что увидел, обратился с расспросами к причетнику, вышедшему из церковного дома. Старая церковная крыса ответила:

– Да, эти – народ неплохой. Говорят, это будто бы и не пруссаки: они из каких-то мест еще подальше, хорошо даже не знаю откуда. И у всех у них дома остались жены и дети. Не очень-то радует эта война, можете мне поверить! Уж, верно, там так же, как здесь, плачут по мужьям. Им тоже война принесет только нищету да горе, как и нам. Здесь у нас пока не так еще худо, потому что они никого не обижают и работают, точно у себя дома. Видите ли, сударь, бедным людям приходится помогать друг другу. Это богатые затевают войны.

Корнюде был так возмущен этой картиной дружеского согласия между победителями и побежденными, что предпочел вернуться в гостиницу и больше оттуда не выходить. Луазо сострил насчет пруссаков, что они «пополняют убыль населения». Карре-Ламадон посмотрел на дело серьезнее: «Они восстанавливают то, что разрушили».

Однако кучера они все же не находили. Наконец его отыскали в кабачке, где он с денщиком немецкого офицера по-братски угощался за одним столом.

Граф спросил его:

– Разве вам не было приказано запрягать к восьми часам?

- Так-то оно так, да я получил после другой приказ.
- Какой?
- Не запрягать вовсе.
- Кто же вам это приказал?
- Прусский капитан, вот кто!
- Но почему же?
- А мне откуда знать? Подите спросите его. Мне запрещено запрягать, я и не запрягаю – вот и все.
- Он сам вам это сказал?
- Нет, сударь, мне хозяин передал приказ от его имени.
- Когда?
- Вчера вечером, когда я собирался идти спать.

Трое путешественников возвратились в гостиницу сильно встревоженные.

Они потребовали трактирщика, но служанка ответила, что хозяин из-за своей одышки никогда не встает раньше десяти часов. Ей строго запрещено будить его до этого часа, разве только если случится пожар.

Тогда они пожелали переговорить с офицером, но оказалось, что это совершенно невозможно, несмотря на то что он жил тут же в гостинице: только одному Фоланви было предоставлено право обращаться к нему по всяким частным делам. Оставалось ждать. Дамы разошлись по своим комнатам и занялись разными пустяками.

Корнюде расположился в кухне у большого очага, в котором пылал яркий огонь. Он попросил принести маленький столик и бутылку пива, достал свою трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же почетом, как и ее хозяин, как будто, служа ему, она тем самым служила и отечеству. Это была отличная пенковая трубка, замечательно обкуренная, такая же черная, как зубы ее хозяина, благоухающая, изогнутая, блестящая, как бы приспособившаяся к руке Корнюде и дополнявшая его физиономию. Он сидел неподвижно, глядя то на огонь очага, то на шапку пены в своей кружке. И, отхлебнув глоток пива, он всякий раз с довольным видом проводил своими длинными худыми пальцами по жирным волосам и обсыпал пену с усов.

Луазо под предлогом того, что ему хочется размять ноги, отправился сбывать свои вина местным торговцам. Граф и фабрикант беседовали о политике. Они пытались предугадать, что ожидает Францию. Один возлагал все надежды на Орлеанский дом, другой верил, что в минуту полного отчаяния придет неведомый избавитель, герой, новый Дюгеклен, или новая Жанна д'Арк, может быть, или новый Наполеон I. Ах, если бы наследный принц не был так молод! Корнюде слушал разговор с усмешкой человека, посвященного в тайны судеб. Его трубка наполняла своим ароматом всю кухню.

Но вот пробило десять часов, и появился Фоланви. К нему кинулись с расспросами. Но он только повторил несколько раз одну и ту же фразу:

– Офицер мне сказал: «Господин Фоланви, запретите завтра закладывать карету для приезжих. Я не желаю, чтобы они уехали, пока я не дам им разрешения. Слышали? Это все».

Тогда путешественники решили добиться свидания с самим офицером. Граф послал ему визитную карточку, на которой и Карре-Ламадон приписал свое имя, перечислив все свои титулы. В ответ немец велел передать, что примет этих двух господ после того, как позавтракает, то есть около часу дня.

Между тем пришли сверху дамы, и, несмотря на тревожное состояние, все немного закусили. Пышка казалась больной и чем-то удрученной.

Они кончали пить кофе, когда пришел денщик за графом и Карре-Ламадонем.

К ним присоединился Луазо. Они попытались привлечь и Корнюде, чтобы придать побольше торжественности их обращению к коменданту, но Корнюде с важностью объявил,

что он не намерен ни при каких условиях вступать в какие-либо сношения с немцами. После этого он вернулся на свое место у очага и потребовал новую бутылку пива.

Трое мужчин поднялись вверх и были введены в лучшую комнату гостиницы, где офицер принял их, развалясь в кресле и положив ноги на камин, с длинной фарфоровой трубкой в зубах. На нем был крикливо-яркий халат, захваченный, вероятно, в покинутом доме какого-нибудь буржуа с дурным вкусом. Он не встал, не поздоровался с вошедшими, даже не взглянул на них. Он являл собой великолепный образец неприкрытой грубости солдата-победителя.

Наконец через несколько минут он произнес:

– Что вам угодно?

Граф ответил:

– Мы хотим уехать, сударь.

– Нет.

– Разрешите спросить, чем вызван ваш отказ?

– Тем, что я не желаю.

– Позвольте почтительно заметить вам, сударь, что ваш главнокомандующий выдал нам разрешение на проезд до Дьеппа. И я не вижу, чем вызвана такая суровость с вашей стороны.

– Я не хочу – вот и все. Можете идти.

Все трое поклонились и вышли.

День прошел печально. Никто не понимал, чем вызван каприз немца, и в голову приходили самые странные догадки. Все собрались в кухне и вели бесконечные споры, придумывая самые неправдоподобные объяснения. Уж не хотят ли их задержать в качестве заложников? Но с какой целью? А может быть, их заберут в плен? Или, пожалуй, еще потребуют у них большой выкуп? Эта мысль привела их в ужас. Больше всего испугались те, кто был богаче других. Они уже ясно представляли себе, как их заставят для спасения своей жизни отдать целые мешки золота в руки этого наглеца солдата. Они ломали голову, придумывая, как бы поискуснее солгать, как бы скрыть свое богатство и выдать себя за неимущих, за последних бедняков. Луазо снял свою цепочку от часов и спрятал ее в карман. С наступлением темноты общее беспокойство еще усилилось. Зажгли лампу, и, так как до обеда оставалось еще два часа, госпожа Луазо предложила для развлечения сыграть в тридцать одно. Все согласились. Даже Корнюде, потушив из вежливости свою трубку, принял участие в игре.

Граф перетасовал колоду и сдал карты. У Пышки сразу оказалось тридцать одно очко. Очень скоро увлечение игрой заглушило мучившую всех тревогу. Корнюде заметил даже, что чета Луазо начинает плутовать.

Наступило время обеда. Но только они собрались сесть за стол, как явился Фоланви и прохрипел:

– Прусский офицер приказал спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не переменяла ли она своего решения?

Пышка вся побледнела, затем лицо ее покрылось густым румянцем. Гнев так душил ее, что некоторое время она не могла произнести ни слова. Наконец она разразилась:

– Скажите этому негодяю, этому скоту, этой прусской сволочи, что я никогда не соглашусь, слышите, никогда, никогда, никогда!

Хозяин ушел. Пышку все обступили, засыпали вопросами, стараясь выведать, наконец, в чем дело. Сначала она упорно отмалчивалась, но скоро гнев развязал ей язык:

– Чего он хочет?.. Чего он хочет?.. Он хочет спать со мной! – закричала она.

Ее выражения даже никого не покоробили, настолько сильно было всеобщее возмущение. Корнюде с такой силой стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Раздался общий вопль ярости против этого гнусного нахала солдафона, поднялась буря негодования. Все объединились для сопротивления, как будто каждому предстояло принести часть той жертвы, которая требовалась от Пышки. Граф с омерзением заявил, что эти господа ведут себя как дикие вар-

вары. Особенно горячее и нежное сочувствие выражали Пышке женщины. Монахини, появившиеся внизу лишь в часы еды, молчали, не поднимая глаз.

После того как улеглось первое волнение, все же сели обедать, но за столом говорили мало; все размышляли.

После обеда дамы рано ушли к себе, а мужчины остались покурить и составили партию в экарте. Пригласили и Фоланви, надеясь как-нибудь незаметно выведать у него, каким путем можно победить упорство офицера. Но Фоланви, занятый только картами, ничего не слышал, ничего не отвечал. Он все время только твердил:

– Давайте не отвлекаться от игры, господа!

Он с таким вниманием следил за игрой, что даже забывал откашляться, и по временам грудь его уподоблялась органу: из свистящих легких его вырывалась вся звуковая гамма астмы – от глубоких и низких нот до пронзительных, напоминавших крик молодого петушка, который учится петь.

Он даже отказался идти спать, когда за ним пришла жена, от усталости едва державшаяся на ногах. В конце концов она ушла наверх без него: она «ранняя птичка», встает всегда на заре, а муж ее, «этот полуночник», всегда рад просидеть ночь с приятелями.

Фоланви крикнул ей вслед:

– Поставь у огня мой гоголь-моголь!

И он снова углубился в игру.

Когда стало ясно, что от него ничего не добьешься, все объявили, что уже поздно и пора спать, и разошлись по своим комнатам.

На следующее утро все опять встали довольно рано со смутной надеждой и с еще более сильным желанием уехать. Их ужасала мысль, что еще целый день, может быть, предстоит провести в этой ужасной харчевне.

Увы! Лошади по-прежнему стояли в конюшне и кучер не показывался. От нечего делать они побродили вокруг кареты.

Завтрак прошел очень уныло. По отношению к Пышке ощущался какой-то холодок. Как известно, утро вечера мудренее, и теперь все дело представлялось уже в несколько ином свете. Они уже начинали сердиться на Пышку за то, что она не побывала тайком у пруссака и не приготовила к утру приятный сюрприз своим попутчикам. Что могло быть проще? Да и кто бы узнал об этом? Для приличия она могла сказать офицеру, что делается это из жалости к ним. Что это составляло для такой женщины, как она?

Однако этих соображений никто пока не высказывал вслух.

После полудня, так как все умирали от скуки, граф предложил прогуляться по окрестностям. Они хорошенько укутались и вышли всей компанией, за исключением Корнюде, который предпочел остаться у огня, и монахинь, проводивших все время в церкви или у священника.

Мороз, крепчавший с каждым днем, жестоко щипал нос и уши. Ноги так зябли, что каждый шаг причинял боль. И таким жутким унынием веяло на всех от расстилавшихся перед ними полей и бескрайней белизны снежного покрова, что они сразу повернули обратно со сжимавшимся от холода сердцем.

Четыре женщины шли впереди, за ними на некотором расстоянии – трое мужчин.

Луазо, уловив общее настроение, неожиданно спросил, долго ли им придется торчать в такой дыре из-за «этой девки»? Граф, как всегда корректный, возразил, что нельзя требовать от женщины такой тяжелой жертвы и что, во всяком случае, это может исходить только от нее самой. Карре-Ламадон заметил, что если французы, как предполагается, пойдут в контрнаступление со стороны Дьеппа, то столкновение с пруссаками безусловно произойдет именно здесь, в Тоте. Эта мысль встревожила обоих собеседников фабриканта.

– А не двинуться ли нам отсюда пешком? – предложил Луазо.

Граф пожал плечами:

– Мыслимо ли это? По такому снегу! Да еще с женщинами! И кроме того, за нами сразу снарядят погоню, поймут через десять минут, и мы как пленники очутимся во власти солдат.

Это было верно; все замолчали.

Дамы тем временем беседовали о нарядах; но среди них ощущалась какая-то натянутость.

Неожиданно в конце улицы показался офицер. На фоне снега, замыкавшего горизонт, выделялась его высокая фигура в мундире с перетянутой осиной талией. Он шагал, широко расставляя ноги, той особенной походкой военных, которые боятся запачкать свои тщательно начищенные сапоги.

Проходя мимо дам, он поклонился им, мужчин же удостоил только презрительным взглядом. У тех, впрочем, хватило достоинства не поклониться ему. Только Луазо протянул было руку к своей шляпе.

При виде офицера Пышка вспыхнула до ушей. А три замужние женщины почувствовали острое унижение, оттого что этот солдат встретил их в обществе особы, по отношению к которой он позволил себе такую дерзость.

Они заговорили о нем, о его фигуре, лице. Госпожа Карре-Ламадон, знавшая множество офицеров и понимавшая в них толк, нашла, что этот – совсем недурен. Она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы красавец гусар, по которому все женщины сходили бы с ума.

Возвратясь в гостиницу, они не знали, чем бы заняться. Стали даже обмениваться колкостями из-за разных пустяков. Пообедали быстро, в молчании, и после этого сразу улеглись спать, чтобы как-нибудь убить время.

На следующее утро на всех лицах была написана усталость и скрытое озлобление. С Пышкой дамы почти не разговаривали.

Послышался колокольный звон: это звонили в церкви по случаю крестин. У Пышки был ребенок, отданный на воспитание в крестьянскую семью в Ивето. Она навещала его раз в год, а то и реже и никогда о нем не вспоминала. Но мысль о крестинах этого чужого ребенка вдруг вызвала в ее сердце прилив горячей нежности к ее собственному, и ей захотелось присутствовать на обряде.

Как только она ушла, все переглянулись и подсели ближе друг к другу, чувствуя, что пора наконец на что-нибудь решиться. Луазо вдруг осенила мысль: предложить офицеру, чтобы он задержал одну Пышку, а всех остальных отпустил.

Фоланви и на этот раз взялся выполнить поручение, но почти тотчас же возвратился: немец выгнал его вон. Зная человеческую натуру, он решил не выпускать всю компанию до тех пор, пока его желание не будет удовлетворено.

Тут уж госпожа Луазо, не вытерпев, дала волю своей природной вульгарности:

– Не сидеть же нам здесь до самой смерти, в самом деле! Раз у нее такое ремесло, у этой потаскушки, и она проделывает это со всеми мужчинами, какое право имеет она отказывать тому или другому? Ведь путалась же она, с позволения сказать, с каждым встречным и поперечным в Руане, даже с кучерами. Да, сударыня, с кучером префекта! Мне это отлично известно, потому что он покупает у нас вино. А теперь, когда нужно вывести нас из затруднения, эта дрянь разыгрывает из себя недотрогу!.. Я нахожу, что этот офицер ведет себя еще очень прилично. Очень может быть, что он просто изголодался по женщинам. И конечно, он предпочел бы кого-нибудь из нас трех. Но, как видите, он довольствуется той, которая доступна для всех. Он относится с уважением к замужним женщинам. Подумайте, ведь он здесь хозяин! Ему стоит только сказать «хочу» – и он может взять нас силой. Мало ли у него солдат?

Две другие дамы слегка вздрогнули. У хорошенькой госпожи Карре-Ламадон заблестели глаза, и она чуточку побледнела, как будто уже представила себе мысленно, как офицер насилует ее.

Подшли мужчины, до сих пор беседовавшие в стороне. Разъяренный Луазо готов был выдать немцу «эту негодяйку» связанной по рукам и по ногам. Но граф, насчитывавший в своем роду трех посланников и даже по наружности своей дипломат, был сторонником более осторожной и ловкой политики.

– Надо ее склонить к этому, – сказал он. Стали выработать план действий.

Дамы придвинулись ближе друг к другу и понизили голос. Разговор стал общим, каждый высказывал свои соображения. При этом вполне соблюдалось внешнее приличие. В особенности дамы умудрялись находить для самых скабрёзных вещей тончайшие обороты и изящные выражения. Посторонний человек ничего бы не понял, настолько они были осторожны в выборе слов. Но так как броня целомудренной стыдливости, в которую облачена каждая светская женщина, является лишь тонкой поверхностной оболочкой, то наши дамы упивались этой фривольностью и безмерно веселились в душе, чувствуя себя в своей стихии, смакуя любовные делишки со сладострастием лакомки-повара, стряпающего ужин для другого.

В конце концов эта история стала казаться им такой забавной, что к ним снова вернулось веселое настроение. Шутки графа, немного рискованные, но умело сказанные, вызывали у всех улыбки. Луазо в свою очередь отпустил несколько более откровенных непристойностей, но и они не смутили никого. Теперь у всех была на уме одна и та же мысль, грубо выраженная госпожой Луазо: «Раз у этой девки такое ремесло, с какой стати она отказывает именно этому офицеру?» Хорошенькая госпожа Карре-Ламадон, казалось, даже находила, что на месте Пышки она меньше всего стала бы сопротивляться ему.

Долго подготовлялась эта блокада, словно дело шло об осаде какой-нибудь крепости. Договорились, какую каждый из них возьмет на себя роль, какие доводы он будет приводить, какие маневры употребит. Выработали план атак, военных хитростей, которые следовало пустить в ход, предусмотрены были все неожиданности, могущие возникнуть при штурме этой живой крепости, которую хотели заставить впустить неприятеля.

Один лишь Корнюде оставался в стороне, не принимая никакого участия в этой затее.

Все были так поглощены своими соображениями, что и не заметили прихода Пышки. Но легкое «тсс», произнесенное графом, заставило всех поднять глаза. Она здесь. Все сразу замолчали. Сначала какое-то стеснение мешало заговорить с нею. Графиня, более других опытная в светском лицемерии, первая спросила:

– Ну что, интересно было на этих крестинах?

Толстушка, еще взволнованная, принялась рассказывать обо всем, что видела, описывала лица и манеры присутствовавших на крестинах и даже самую церковь. В заключение она заметила:

– Хорошо бывает иногда помолиться.

До завтрака дамы ограничились тем, что были с ней очень любезны, чтобы увеличить ее доверие и готовность следовать их советам.

Но, едва сели за стол, началось наступление. Сперва завели туманный разговор о самопожертвовании. Приводили примеры из древности: историю Юдифи и Олоферна, потом, неизвестно почему, – Лукреции и Секста. Вспомнили и Клеопатру, которая, принимая на своем ложе всех вражеских полководцев, превращала их в покорных рабов. Потом пошла уже какая-то фантастическая история – плод воображения этих невежественных миллионеров – о римских гражданках, которые отправились в Капую, чтобы усыпить в своих объятиях Ганнибала, его военачальников и целые фаланги наемников. Припомнили всех женщин, которые задерживали наступление завоевателей, превращая свое тело в поле сражения, властвуя с его помощью, пользуясь им как оружием; женщин, которые своими геройскими ласками покоряли людей ненавистных или презренных, жертвуя своим целомудрием ради мести или преданности.

Рассказали даже в сдержанных выражениях об англичанке из знатной семьи, согласившейся привить себе ужасную заразную болезнь, с тем чтобы передать ее Бонапарту, который спасся каким-то чудом, почувствовав внезапную слабость в час рокового свидания.

Все это рассказывалось в приличной и осторожной форме, сквозь которую порою прорывался нарочитый энтузиазм, звучавший как призыв к подражанию.

В конце концов создавалось впечатление, что удел женщин в этом мире – постоянно жертвовать собой, предоставляя свое тело для удовлетворения грубых солдатских прихотей.

Благочестивые монахини, казалось, ничего не слышали, погруженные в глубокую задумчивость. Пышка хранила молчание.

Ее на весь остаток дня предоставили собственным размышлениям. Но теперь, обращаясь к ней, почему-то не говорили «сударыня», как бы желая несколько снизить степень уважения, которое она завоевала, дать ей почувствовать ее позорное положение.

За обедом, когда подавали суп, снова появился Фоланви и повторил тот же вопрос, что и накануне:

– Прусский офицер спрашивает мадемуазель Элизабет Руссе, не переменяла ли она своего решения.

Пышка сухо ответила:

– Нет.

Во время обеда коалиция несколько ослабела. У Луазо вырвались три неосторожные фразы. Все старались привести новые примеры из истории, но не могли ничего придумать. Тут графиня – быть может, без всякой задней мысли, просто побуждаемая смутной потребностью отдать дань религии – обратилась к старшей из монахинь с каким-то вопросом о подвижничестве святых. Ведь многие из них совершали деяния, которые в наших глазах являются преступными. Но церковь охотно прощает такие преступления, когда они совершаются во славу Божию или ради блага ближнего. Это был сильный аргумент, и графиня им воспользовалась.

Было ли тут своего рода молчаливое соглашение, тайная снисходительность, которая свойственна всякому носящему церковную одежду, или просто пришедшаяся весьма кстати бестолковость и глупая услужливость, но старая монахиня оказала заговору весьма существенную поддержку. Ее считали застенчивой, а она неожиданно проявила смелость, красноречие и страстность. Она принадлежала к числу тех, кого мало смущают казуистические тонкости. Ее убеждения были крепче железа, вера никогда не колебалась, совесть не знала сомнений. Жертва Авраама казалась ей вполне естественной: она и сама не замедлила бы убить отца и мать, если бы на то было веление свыше. По ее мнению, ничто не могло быть негодно Господу, раз оно сделано с похвальным намерением. Воспользовавшись религиозным авторитетом своей неожиданной союзницы, графиня постаралась получить от нее как бы толкование известного нравственного принципа: «Цель оправдывает средства».

Она спросила:

– Так вы, сестрица, полагаете, что Господу Богу угодны все пути и Он простит всякий грех, если только побуждение чисто?

– Кто же мог бы в этом сомневаться, сударыня? Поступок, сам по себе достойный порицания, часто становится даже похвальным благодаря цели, которая его внушила.

Разговор продолжался в том же духе: толковали намерения Бога, предугадывали Его решения, вынуждали Его интересоваться тем, что, в сущности, Его совершенно не касается.

Все это делалось осторожно, искусно, в замаскированной форме. Но каждое слово благочестивой женщины в монашеском уборе пробивало брешь в сопротивлении негодующей куртизанки. Затем беседа приняла несколько иное направление. Монахиня, перебирая четки, стала рассказывать о монастырях своего ордена, о настоятельнице, о себе самой, о своей милой спутнице, дорогой сестрице из монастыря Святого Никифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать там в госпиталях за сотнями солдат, больных оспой. Она говорила о положении этих

несчастных, подробно описывала их болезнь. И вот теперь из-за того, что по капризу этого пруссака они задержались в пути, обречены на смерть множество французов, которых они, быть может, спасли бы. Ухаживать за больными солдатами – ее специальность. Она была в Крыму, в Италии и в Австрии. В рассказах об этих кампаниях она неожиданно предстала перед слушателями как одна из тех воинственных монахинь, которые как бы созданы для того, чтобы следовать за армией, подбирать раненых в разгаре сражений и лучше иного командира усмирять одним словом самых непокорных буянов, – настоящая «полковая сестра», самое лицо которой, обезображенное, изрытое бесчисленными оспинами, казалось эмблемой опустошений, производимых войной.

Успех ее речей казался настолько несомненным, что после нее уже никто ничего не говорил.

Сразу после обеда все разошлись по своим комнатам и на другое утро собрались внизу довольно поздно.

Завтрак прошел молчаливо. Посеянному накануне зерну надо было дать время прорасти и принести плоды.

Графиня предложила прогуляться до обеда. Когда все вышли, граф, как это было заранее условлено, взял Пышку под руку и вместе с нею немного отстал от остального общества.

Он заговорил с нею тем отечески фамильярным, слегка презрительным тоном, каким солидные мужчины говорят с девицами легкого поведения, называя ее «милое дитя», снисходя к ней с высоты своего положения в обществе и своей неоспоримой порядочности. Он сразу перешел к сути дела:

– Итак, вы предпочитаете, чтобы мы оставались здесь, где нам, как и вам самой, грозят всякие насилия в случае поражения прусских войск, – вместо того чтобы согласиться на одну из тех любезностей, которые вы в своей жизни так часто оказывали?

Пышка ничего не отвечала.

Он действовал на нее лаской, убеждением, чувством. Он умел, оставаясь «господином графом», проявлять себя галантным там, где это было нужно, расточать комплименты, быть, наконец, даже любезным. Он превозносил услугу, которую она им окажет, говорил о всеобщей признательности. Затем, перейдя вдруг на «ты», весело прибавил:



*Он действовал на нее лаской, убеждением, чувством*

– И знаешь ли, милочка, он мог бы потом хвастать тем, что полакомился такой красивой девушкой, каких на его родине вряд ли много найдется.

Пышка, ничего не отвечая, догнала остальных.

После прогулки она ушла к себе в комнату и больше не показывалась. Всеобщее беспокойство дошло до крайности. Как она поступит? Если она дальше будет упрямяться, что тогда делать?

Позвонили к обеду; Пышки все не было, ее напрасно ожидали. Наконец, пришел Фоланви и сообщил, что мадемуазель Руссе нездоровится и можно садиться за стол. Все навестили уши. Граф подошел к хозяину и тихонько спросил:

– Что, согласилась?

– Да.

Из чувства приличия граф ничего не сказал остальным, а только едва заметно кивнул головой. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения, и лица просветлели. Луазо воскликнул:

– Тысяча чертей! Ставлю шампанское, если только оно найдется в этом заведении!

И госпожа Луазо с тоской увидела, что трактирщик вернулся, неся в руках четыре бутылки. Все вдруг стали разговорчивы и шумливы. Бурная радость наполнила сердца. Граф, кажется, только теперь заметил, как очаровательна госпожа Карре-Ламадон. Фабрикант стал отпускать комплименты графине. Разговор оживился, засверкал остроумием и весельем.

Вдруг Луазо сделал трагическое лицо и, подняв руки, рявкнул:

– Тише!

Все умолкли, недоумевая, почти испуганные. Тогда он насторожился, протянул обе руки, как бы призывая всех к молчанию, таинственно произнес: «Тс... с... с...», потом поднял глаза к потолку, снова прислушался и возвестил уже обыкновенным голосом:

– Успокойтесь, все идет хорошо.

Сначала все как будто не поняли, потом на лицах заиграли улыбки.

Через четверть часа он снова разыграл ту же комедию и в течение вечера много раз повторял ее. Он делал вид, что обращается к кому-то в верхнем этаже, давал двусмысленные советы с остроумием настоящего коммивояжера. То он шептал с печальным видом: «Бедняжка», то гневно цедил сквозь зубы: «Ах ты, прусская каналья!» Иногда, в самые неожиданные моменты, он вдруг выкрикивал дрожащим голосом несколько раз подряд:

– Довольно!.. Довольно!.. – И добавлял как бы про себя: – Только бы нам довелось увидеть ее снова! Как бы он не уморил ее, этот мерзавец.

Эти шутки дурного тона забавляли всех, нисколько никого не шокируя, так как моральная брезгливость, как и все прочее, зависит от обстановки, а здесь мало-помалу создавалась атмосфера скабрёзных мыслей.

За десертом даже дамы позволили себе несколько остроумных и осторожных намеков. Глаза у всех блестели: было много выпито. Граф, и в минуты легкомыслия не терявший своей обычной важности, позволил себе сделать имевшее шумный успех сравнение их настроения с радостным чувством людей, потерпевших на Северном полюсе кораблекрушение, когда они видят, наконец, что зимовка кончилась и путь на юг открыт. Расходившийся Луазо встал со стаканом шампанского в руке:

– Пью за наше освобождение!

Все поднялись с возгласами одобрения. Даже обе монахини, уступив настояниям дам, согласились омочить губы в этом шипучем вине, которого они никогда еще не пробовали. Они нашли, что оно похоже на лимонад, но только гораздо вкуснее.

Луазо выразил общее настроение, сказав:

– Какая жалость, что нет фортепиано: можно было бы отхватить кадрили.

Корнюде за все это время не проронил ни слова, не сделал ни одного жеста. Он, казалось, углубился в серьезные размышления и по временам сердито тербил свою длинную бороду, словно пытаясь еще больше удлинить ее. Наконец уже около полуночи, когда все стали расходиться, Луазо, который уже пошатывался, хлопнул его вдруг по животу и, запинаясь, сказал:

– Вы что-то не в духе сегодня, гражданин! Вы всё молчите.

Корнюде резко поднял голову и окинул всю компанию сверкающим от негодования взглядом:

– Заявляю вам всем, что вы учинили гнусность!

Он встал, пошел к двери, снова повторил: «Гнусность...» – и скрылся.

Сначала это внесло холодную струю в атмосферу веселья. Луазо, опешив, имел преглупый вид. Но к нему сразу вернулась его обычная самоуверенность, и он с кривлянием произнес несколько раз:

– Что, голубчик, зелен виноград?

Так как никто ничего не понял, он посвятил все общество в «тайну коридора». Последовал новый взрыв веселья. Дамы хохотали как сумасшедшие. Граф и Карре-Ламадон плакали от смеха. Они не могли поверить Луазо.

– Неужели? Вы уверены в этом? Так он хотел...

– Говорю же вам, что я видел собственными глазами.

– И она отказала?

– Да, оттого что немец был в соседней комнате.

– Не может быть!

– Клянусь вам.

Граф задышался от смеха. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:

– Так что, понимаете, сегодня вечером ему не до шуток, совсем не до шуток.

И все трое, захлебываясь, изнемогая от хохота, продолжали твердить одно и то же.

Скоро все разошлись. Госпожа Лаузо, женщина колючая, как шпилька, ложась спать, не преминула заметить мужу, что «эта злючка» Карре-Ламадон смеялась весь вечер скрепя сердце.

– Знаешь, когда женщина равнодушна к мундиру, ей безразлично, француз это или немец, честное слово. Господи боже, до чего это противно!

Всю ночь во мраке коридора слышались какие-то шорохи, легкие, едва уловимые звуки, походившие на вздохи, тихое шлепанье босых ног, слабое поскрипывание. Все заснули, должно быть, очень поздно, так как в щелях под дверьми долго мелькали полоски света. Таково действие шампанского. Говорят, оно разгоняет сон.

Наутро снег так и сверкал на ярком зимнем солнце. Дилижанс, наконец запряженный, ожидал у подъезда. Целая стая белых голубей с черными, в розовом ободке, глазами, раздувая пышное оперение, важно прохаживалась под ногами шести лошадей и рылась в дымящемся навозе, отыскивая себе корм.

Кучер в бараньей шубе уже сидел на козлах, покуривая трубку, и все пассажиры, сияя, торопливо укладывали провизию, запасенную на остаток пути.

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она казалась немного смущенной, пристыженной и робко подошла к своим спутникам. Все, как один, отвернулись, словно не замечая ее. Граф с достоинством взял под руку жену, как бы оберегая ее от соприкосновения с чем-то нечистым.

Пышка остановилась пораженная. Потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно шепнула:

– Здравствуйте, сударыня.

Та ответила лишь легким высокомерным кивком головы, сопровождая его взглядом оскорбленной добродетели. Все делали вид, что заняты, и сторонились ее, как будто она в своих юбках принесла заразу. Затем все поспешили к карете. Пышка вошла последней и молча села на то же место, которое занимала в начале путешествия.

Ее как будто не видели, не были с ней знакомы. Госпожа Луазо, негодуяще поглядывая на нее издали, вполголоса сказала мужу:

– Какое счастье, что я не сижу рядом с ней.

Тяжелая карета тронулась – и прерванное путешествие возобновилось.

Некоторое время все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она негодовала на своих спутников и в то же время чувствовала себя униженной тем, что уступила, оскверненной поцелуями пруссака, в объятия которого ее с таким лицемерием толкнули.

Повернувшись к госпоже Карре-Ламадон, графиня вскоре прервала тягостное молчание:

– Вы, кажется, знакомы с госпожой д'Этрель?

– Да, она моя приятельница.

– Какая обаятельная женщина!

– Да, она очаровательна! Вот подлинно избранная натура: высокообразованна и артистка до мозга костей. Она чудесно поет и рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь дребезжание стекол слышались слова: «купон – срок платежа – премия – на срок».

Луазо, стянувший в гостинице старую колоду карт, засаленную от пятилетнего трения о плохо вытертые столы, играл с женой в безик.

Монахини, перебирая висевшие у пояса длинные четки, обе разом перекрестились и быстро зашевелили губами, все ускоряя свое невнятное бормотание, как будто состязаясь в быстроте чтения молитв. Время от времени они целовали образок, снова крестились и снова начинали быстро бормотать.

Корнюде не шевелился, о чем-то задумавшись.

Прошло три часа. Луазо, собрав карты, сказал:

– Хочется есть.

Тогда его жена достала перевязанный сверток и вынула из него кусок холодной телятины. Она аккуратно разрежала его на тонкие, но солидные ломтики, и оба принялись за еду.

– Не сделать ли и нам то же самое? – спросила графиня.

Остальные согласились, и она развернула провизию, приготовленную на обе семьи. В длинной миске с крышкой, на которой фаянсовый заяц как бы указывал, что под ней покоится нашпигованный заяц, лежал сочный паштет. Белые полоски сала пронизывали темное мясо дичи, начиненной различным мелко изрубленным фаршем. Завернутый в газету изрядный кусок швейцарского сыра еще хранил на своей маслянистой поверхности отпечаток слов: «Происшествия».

Монахини достали пахнущую чесноком колбасу, а Корнюде, засунув одновременно обе руки в глубокие карманы своего пальто, вытащил из одного четыре крутых яйца, из другого – горбушку хлеба. Он разбил скорлупу, бросил ее в солому под ногами и принялся уписывать яйца, роняя на свою длинную бороду крошки желтка, похожие на звездочки.

Пышка второпях и в волнении сегодняшнего утра не успела ничем запастись. И теперь она смотрела с озлоблением, задыхаясь от гнева, на всех этих людей, спокойно занятых едой. Сначала, в сильном раздражении, она уже открыла было рот, чтобы прокричать этим людям то, что она думала о их поступке, чтобы осыпать их градом ругательств, просившихся ей на язык. Но она не могла произнести ни слова – до такой степени душило ее возмущение.

Никто не смотрел на нее, не думал о ней. Она чувствовала, что ее словно захлестнуло презрение этих честных негодяев, которые сначала принесли ее в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, ненужную ветошь. Потом она вспомнила о своей объемистой

корзинке, полной вкусных вещей, которую они уничтожили с такой прожорливостью, о двух цыплятах, на которых блестело желе, о своих паштетах, грушах, о четырех бутылках бордо. Ее ярость внезапно упала, подобно тому как лопается и падает туго натянутая струна: она почувствовала, что сейчас заплачет. Она делала невероятные усилия над собой, давилась слезами, как ребенок, но слезы подступали, уже блестели на ресницах, и наконец две крупные капли выкатились из глаз и медленно потекли по щекам. За ними последовали другие, катясь все быстрее, подобно струйкам, сочащимся из скалы, и падая на ее высокую грудь. Она сидела выпрямившись, неподвижно глядя в одну точку, с бледным суровым лицом, надеясь, что слез ее никто не увидит.

Но графиня заметила и знаком указала на нее мужу. Тот пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь, я тут ни при чем».

Госпожа Луазо торжествующе засмеялась про себя и прошептала:

– Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумагу остатки колбасы, снова начали молиться.

А Корнюде, переваривавший свой завтрак, вытянул длинные ноги под скамью напротив, откинулся назад, скрестив руки, и с усмешкой человека, придумавшего хорошую шутку, принялся насвистывать «Марсельезу».

Все нахмурились. Очевидно, эта народная песня не пришлась по вкусу его соседям. Она действовала им на нервы, раздражала, у них был такой вид, словно сейчас они завоюют, как собаки при звуках шарманки. Корнюде это заметил, но не перестал насвистывать. Время от времени он даже напевал вполголоса слова песни:

Любовь священная к народу,  
Рукою мстителя води.  
На бой, прекрасная свобода,  
Своих защитников веди.

Снег стал тверже, и дилижанс теперь катился быстрее. И всю дорогу, до самого Дьеппа, в течение долгих, унылых часов путешествия, на всех ухабах, сначала в сумерках, а потом и в полной темноте, Корнюде со свирепым упорством продолжал свое монотонное и мстительное насвистывание, заставлявшее его усталых и раздраженных соседей невольно следить за песней от начала до конца, припоминать в такт мелодии каждое ее слово.

А Пышка все плакала, и по временам рыдания, которых она не в силах была сдержать, слышались в темноте между строфами «Марсельезы».

## Воскресные прогулки парижского буржуа

### ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Господин Патиссо, уроженец Парижа, окончив с грехом пополам, подобно многим другим, коллеж Генриха IV, поступил в министерство по протекции одной из своих теток: она содержала табачную лавочку, где покупал табак начальник отделения этого министерства.

Он продвигался по службе очень медленно и, вероятно, так бы и умер канцеляристом четвертого разряда, не выручи его благосклонный случай, управляющий порой нашими судьбами.

Сейчас ему пятьдесят два года; достигнув этого возраста, он впервые собирается обойти в качестве туриста всю ту часть Франции, которая простерлась между укреплениями и деревней.

История его повышения может оказаться полезной для других чиновников, а повесть о его прогулках, несомненно, сослужит службу многим парижанам: они воспользуются ими как маршрутами для собственных экскурсий и научатся на его примере избегать неприятностей, которые с ним приключались.

В 1854 году господин Патиссо все еще получал только тысячу восемьсот франков. По странному свойству своей натуры он не нравился никому из своих начальников, и они оставляли его изнывать в вечном и безнадежном ожидании повышения – этой мечты каждого чиновника.

Между тем он много работал; только он не умел добиться, чтобы его ценили, да и, по его словам, был слишком горд. Вдобавок гордость его проявлялась в том, что он никогда не кланялся начальству низко и подобострастно, как это делали, по его мнению, иные из его сослуживцев, которых ему не хотелось называть. Он добавлял еще, что его откровенность многим не по нутру, ибо он – как и все остальные, впрочем, – возмущался, когда обходили по службе или когда видел несправедливости, предпочтения, оказываемые неведомым людям, непричастным к миру чиновников. Но его негодующий голос никогда не выходил за порог каморки, где он, по его выражению, сгибался над работой.

– Я сгибаюсь... сгибаюсь, сударь, в обоих смыслах этого слова.

Как служащий, во-первых, как француз, во-вторых, и наконец как человек порядка, он из принципа стоял за всякое установленное правительство и был фанатически предан власти... только не власти своих начальников.

Всякий раз, как представлялся случай, он становился на пути следования императора, чтобы иметь честь снять перед ним шляпу, после чего шел своей дорогой, гордясь тем, что приветствовал главу государства.

Он так часто созерцал монарха, что, подобно многим другим, перенял форму его бородки, прическу, покрой сюртука, походку, жесты; сколько людей в каждой стране – вылитые портреты своего государя! У него и правда имелось небольшое сходство с Наполеоном III, только волосы были черные; он их выкрасил. Тогда сходство стало настолько полным, что, встречая на улице другого господина, также копировавшего императорский облик, он ревниво окидывал его презрительным взглядом. Эта страсть к подражанию скоро превратилась у него в манию, и, услышав, как один привратник Тюильри подражает голосу императора, он, в свою очередь, перенял его интонации и нарочитую растянутость речи.

Таким образом, он стал до того похож на оригинал, что их можно было спутать, и в министерстве среди высших чиновников зашептались о том, что это неудобно, даже неприлично.

Дело дошло до министра; он вызвал к себе этого служащего, а увидев его, расхохотался и раза два-три повторил:

– Забавно, право, забавно!

Слова эти стали известны. На следующий же день непосредственный начальник Патиссо представил своего подчиненного к прибавке в триста франков, которую тот немедленно и получил. Благодаря этой своей обезьяньей способности к подражанию он начал с тех пор регулярно продвигаться. И его начальниками, которые теперь стали относиться к нему с уважением, овладело даже некое смутное беспокойство, как бы предчувствие уготованной ему блестящей карьеры.

Приход республики был для него полной катастрофой. Он почувствовал себя погибшим, конченным, растерялся, перестал краситься, обрился и коротко остриг волосы; вид у него стал патриархальный, смиренный и отнюдь не компрометирующий.

Но тут начальники принялись мстить ему за тот страх, который он им так долго внушал. Из инстинкта самосохранения все они превратились в республиканцев и теперь обходили его денежными наградами и препятствовали его дальнейшему продвижению. Он и сам изменил свои взгляды, но так как республика не была тем осязаемым, живым существом, на которое можно было быть похожим, а президенты сменялись чересчур быстро, то он пришел в самое тягостное смятение, в глубокое уныние. И ему пришлось отказаться от своих стремлений к подражанию после безуспешной попытки уподобиться последнему своему идеалу – господину Тьеру.

Но как-нибудь проявить свою индивидуальность ему все же было необходимо. Он долго раздумывал и в одно прекрасное утро явился на службу в новой шляпе; с правой ее стороны была приколот в виде кокарды крошечная трехцветная розетка. Сослуживцы были поражены; они смеялись весь день, весь следующий день, всю неделю, весь месяц. Но в конце концов его непоколебимый вид сбил их с толку, а начальники снова встревожились. Что скрывается за этим значком? Простое ли это проявление патриотизма? Или доказательство его перехода на сторону республики? Или, может быть, это тайный знак какого-нибудь могущественного сообщества? Чтобы носить значок с таким упорством, надо иметь уверенность в чем-то скрытом и всесильном покровительстве. Так или нет, но благоразумней было держаться настороже, тем более что Патиссо встречал насмешки с невозмутимым хладнокровием, которое только усиливало общую тревогу. С ним снова стали считаться, и эта храбрость Грибуйля спасла его: 1 января 1880 года он был наконец назначен старшим чиновником.

Он всегда вел сидячий образ жизни. Оставшись холостяком из любви к тишине и спокойствию, он ненавидел движение и шум. Воскресенья он обычно проводил читая романы приключений или же линуя транспаранты, которые потом дарил сослуживцам. За всю свою жизнь он только три раза брал отпуск, каждый раз на неделю – для переезда на новую квартиру. Все же иногда в большие праздники он уезжал с удешевленным поездом в Дьепп или в Гавр, чтобы возвысить душу величественным зрелищем моря.

Он был преисполнен того благоразумия, которое граничит с глупостью. Давно уже он жил спокойно, экономно, будучи умеренным из осторожности и целомудренным по темпераменту, но вдруг его охватила ужасная тревога. Как-то вечером на улице с ним случилось головокружение, и он стал бояться удара. Отправившись к доктору, он получил за сто су следующий рецепт:

Господин X... 52 года, холост, служащий. Натура полнокровная; предрасположение к удару. Холодные обтирания, умеренная пища, побольше движения.

*Доктор медицины Монтелье.*

Патиссо был сражен. В течение месяца, сидя у себя в отделе, он целыми днями держал на голове мокрую салфетку, скрученную в виде чалмы; капли воды постоянно падали на бумаги, и ему приходилось переписывать их снова и снова. Он ежеминутно перечитывал рецепт, словно

надеясь обнаружить в нем какой-нибудь скрытый смысл, уловить тайную мысль врача, догадаться, какое благотворное упражнение могло бы спасти его от апоплексии.

Он прибегнул к совету друзей, показав им роковую бумажку. Один из них порекомендовал бокс. Господин Патиссо немедленно отыскал учителя и в первый же день получил прямой удар кулаком по носу, что побудило его навсегда расстаться с этим целительным развлечением. От гимнастики у него появилась одышка, а от фехтования так разломило поясницу, что он две ночи не спал. И вдруг его осенило: он будет в воскресные дни обходить пешком окрестности Парижа и те части столицы, которые не знает.

Целую неделю он обдумывал вопрос о снаряжении для этих походов и в воскресенье 30 мая приступил к сборам.

Перечитав все те нелепейшие рекламы, которые навязывают прохожим на всех перекрестках кривые и хромые нищие, он отправился по магазинам, чтобы сначала присмотреться, а потом уже делать покупки.

Он зашел в обувной магазин, так называемый американский, и спросил крепкие башмаки для путешествий. Ему показали какие-то аппараты, окованные медью, как броненосцы, утыканные остриями, как бороны, и сделанные якобы из кожи бизона Скалистых гор. Патиссо пришел в такое восхищение, что готов был купить сразу две пары. Но достаточно было одной, и он удалился, удовлетворенно унося под мышкой башмаки, сразу же оттянувшие ему руку.

Он достал себе прочные штаны из вельвета, как у плотников, и брезентовые промасленные гетры до колен.

Ему потребовались еще солдатский мешок для провизии, морская подзорная труба, чтобы различать отдаленные селения на склонах холмов, и наконец штабная карта: она позволит ориентироваться, не спрашивая дороги у крестьян, работающих в полях.

Чтобы легче переносить жару, он решил приобрести легкий пиджак из альпака; знаменитая фирма Рамино, судя по ее объявлениям, продавала такие самого лучшего качества пиджаки за умеренную цену в шесть франков пятьдесят сантимов.

Он отправился в этот магазин. Высокий, изящный молодой человек, с прической а-ля Капуль, с розовыми, как у дамы, ногтями, не переставая любезно улыбаться, показал ему требуемую одежду. Пышности рекламы она не соответствовала, и Патиссо спросил с некоторым сомнением:

– Но скажите, хорошо ли это будет носиться?

Приказчик отвел глаза с отлично разыгранным смущением честного человека, который не хочет обмануть доверия клиента.

– Боже мой, сударь, – нерешительно сказал он, понизив голос, – вы сами понимаете, что за шесть франков пятьдесят нельзя дать такой товар, как, например, вот этот...

И он показал пиджак значительно лучшего качества.

Рассмотрев его, Патиссо осведомился о цене.

– Двенадцать пятьдесят.

Это было заманчиво. Но прежде чем решиться, он еще раз спросил высокого молодого человека, зорко наблюдавшего за ним:

– А... а этот очень хороший? Вы гарантируете?

– Ну еще бы, сударь! Это прекрасный, мягкий материал! Конечно, не нужно, чтобы он попадал под дождь. Хорош-то он хорош, но, вы сами понимаете, бывает товар и товар. За такую цену это великолепно. Двенадцать франков пятьдесят, подумайте только, ведь это даром! Правда, жакет за двадцать пять франков гораздо лучше. За двадцать пять франков вы получили бы действительно первоклассный товар, плотный, как сукно, и даже еще более ноский. После дождя его только выутюжить, и он будет как новый. Не выцветает, не выгорает на солнце. Более теплый и вместе с тем более легкий.

И он развертывал товар, показывал материю на свет, мял ее, встряхивал, натягивал, доказывая ее добротность. Он говорил без умолку, убежденно, рассеивая сомнения жестами и красноречием.

Патиссо был покорен его доводами. Он купил. Любезный продавец, не переставая говорить, завязал пакет и даже у кассы и у самого выхода все еще горячо расхваливал покупку. Но как только деньги были уплачены, он сразу умолк, сказав: «До свидания, сударь», – с улыбкой человека, сознающего свое превосходство. И, держа дверь открытой, глядел на уходящего покупателя, который тщетно пытался поклониться, так как руки у него были заняты свертками.

Вернувшись домой, господин Патиссо принялся тщательно изучать свой первый маршрут. Ему захотелось примерить башмаки, которым металлические набойки придавали сходство с коньками. Он поскользнулся, шлепнулся на пол и решил впредь быть осторожнее. Затем, разложив на стульях все свои покупки, он долго любовался ими и заснул, подумав: «Странно, что мне никогда раньше не приходило в голову отправиться за город!»

## ПЕРВЫЙ ВЫХОД

Всю неделю господин Патиссо плохо работал в министерстве. Он мечтал о прогулке, намеченной на следующее воскресенье, и его вдруг страшно потянуло в поля: ему захотелось умиляться, глядя на деревья, им овладела тоска по сельскому идеалу, томящая весной парижан.

В субботу он лег рано и встал с рассветом.

Его окно выходило во двор, узкий и темный, похожий на дымоход, откуда постоянно исходили зловонные запахи бедных квартир. Он поднял глаза на квадратик неба между крышами, на клочок синевы, уже залитый солнцем и беспрестанно прорезаемый быстрым полетом ласточек. Оттуда, наверно, им видны, подумал он, далекие поля, зелень лесистых холмов, беспредельные просторы...

И ему страстно захотелось окунуться в лесную прохладу. Он поспешно оделся, обул свои чудовищные башмаки и долго зашнуровывал гетры, с которыми еще не научился обращаться. Потом взвалил на спину мешок с мясом, сыром, бутылками вина (от ходьбы, наверно, появится волчий аппетит) и вышел с палкой в руках.

Он сразу взял бодрый, размеренный шаг («Как у стрелков», – подумал он) и стал насвистывать веселые мотивы, от которых походка становилась еще легче. Прохожие оборачивались на него, какая-то собака тявкнула, кучер, проезжая мимо, крикнул ему:

– Добрый путь, господин Дюмоле!

Но это ничуть не смущало Патиссо; он шел не оборачиваясь, все ускоряя шаг и молодецки вертя палкой.

Город радостно просыпался в тепле и сиянии прекрасного весеннего дня. Фасады домов сверкали, канарейки заливались в клетках, веселье носилось по улицам, оживляя лица, рассыпая повсюду смех; казалось, все окружающее преисполнено довольства в ясном свете восходящего солнца.

Направляясь к Сене, чтобы сесть на парходик и ехать в Сен-Клу, Патиссо проследовал по улице Шоссе д'Антен, по бульвару, по улице Руаяль, возбуждая изумление прохожих и мысленно сравнивая себя с Агасфером. Но когда он переходил на другой тротуар, железные подковы его башмаков скользнули по камням, и он тяжело рухнул на мостовую, гремя заплечным мешком. Прохожие подняли господина Патиссо, и он уже более медленно дошел до Сены, где стал ждать парходика.

Он увидел его далеко-далеко под мостами; парходик, сначала совсем крошечный, быстро увеличивался, становился все больше, принимая в воображении Патиссо размеры океанского пархода, на котором он отправится в дальнейшее плавание, переплывет моря, увидит

неведомые народы, невиданные вещи. Пароходик причалил, и Патиссо взошел на него. Там уже сидели люди, разодетые по-праздничному, в ярких нарядах, с пестрыми лентами на шляпах. Патиссо прошел на нос и остановился там, расставив ноги, изображая собою моряка, которому довелось немало поплавать. Но, опасаясь покачиваний пароходика, он для сохранения равновесия опирался на палку.

После станции Пуан дю Жур река расширялась, спокойно струилась под ослепительным солнцем; потом, когда прошли между двумя островками, пароходик стал огибать холм, из зелени которого выглядывали белые домики. Чей-то голос объявил Ба-Медон, потом Север, наконец, Сен-Клу. Патиссо сошел на берег.

Очувтившись на набережной, он сразу развернул штабную карту, чтобы не допустить ошибки.

Все, впрочем, было совершенно ясно. Вот этой дорогой он дойдет до Сель, потом свернет влево, возьмет немного вправо и попадет в Версаль, где перед обедом осмотрит парк.

Дорога шла в гору; Патиссо пыхтел, изнемогая под тяжестью мешка, гетры нестерпимо жали ноги, и он волочил в пыли огромные башмаки, тяжелые, как ядра. Вдруг он остановился с жестом отчаяния. Второпях он забыл дома подзорную трубу!

Но вот и лес. И тут, несмотря на страшную жару, на пот, струившийся по лицу, на тяжесть всей сбрауи, на колотивший по спине мешок, Патиссо побежал, вернее, затрусил к зелени, слегка подсакаивая, как старая, запаленная лошадь.

Он вошел в тень, в чудесную прохладу и умилился при виде множества цветочков – желтых, красных, голубых, лиловых, – крохотных, нежных, сидевших на длинных стебельках и цветущих вдоль канав. Насекомые всех цветов и форм – приземистые, вытянутые, необыкновенные по своему строению, страшные и микроскопические чудовища, – взбирались по былинкам, гнувшимся под их тяжестью. И Патиссо искренне восхитился мирозданием. Но он совсем выбился из сил и присел на траву.

Тут он почувствовал голод. Но так и остолбенел, заглянув в мешок. Одна из бутылок разбилась, очевидно при его падении, и вино, задержанное клеенкой, превратило всю провизию в какой-то винный суп.

Все же он съел кусок жаркого, тщательно обтерев его, потом ломоть ветчины, несколько размокших, красных от вина хлебных корок и утолил жажду прокисшим бордо, розовая пена которого была так неприятна на вид.

Отдохнув час-другой, он еще раз взглянул на карту и отправился дальше.

Несколько времени спустя он оказался на перекрестке, которого никак не ожидал. Он взглянул на солнце, попытался ориентироваться, углубился в раздумье, разглядывая перекрещивающиеся черточки, которыми на бумаге изображались дороги, и вскоре пришел к убеждению, что окончательно сбился с пути.

Перед ним открывалась восхитительная аллея. Сквозь ее негустую листву просачивались капли солнечного света и, падая на землю, освещали скрытые в траве белые ромашки. Аллея была бесконечно длинная, пустая и тихая. Большой одинокий шмель, жужжа, летал по ней; порой он опускался на сгибающийся под ним цветок и тотчас же улетал, чтобы сесть отдохнуть немного дальше. Его крупное тело – словно из коричневого бархата в желтых полосках – поддерживали прозрачные, несоразмерно маленькие крылышки. Патиссо следил за ним с глубоким интересом, как вдруг что-то закопошилось у него под ногами. Сначала он испугался и отпрыгнул в сторону, но потом осторожно нагнулся и увидел лягушку: она была величиной с орех и делала огромные прыжки.

Он нагнулся, чтобы поймать ее, но она выскользнула у него из рук. С бесконечными предосторожностями он пополз за ней на коленях, и мешок за его спиной казался огромным щитом, как у большой черепахи. Добравшись до места, где остановилась лягушка, он наце-

лился, выбросил вперед обе руки, ткнулся носом в траву и встал с двумя пригоршнями земли в руках, но без лягушки. И, сколько он ни искал, найти ее уже не мог.

Поднявшись на ноги, он увидел вдали двух человек, которые направлялись к нему, делая какие-то знаки. Женщина махала зонтиком, мужчина, в одном жилете, нес сюртук на руке. Наконец женщина пустилась бежать, крича:

– Сударь! Сударь!

Он отер лоб и откликнулся:

– Сударыня?

– Сударь, мы заблудились, совершенно заблудились!

Ему было стыдно признаться в том же самом, и он солидно заявил:

– Сударыня, вы на дороге в Версаль.

– Как на дороге в Версаль? Но ведь мы же идем в Рюэй!

Он смутился, однако ответил с апломбом:

– Я сейчас совершенно точно покажу вам по штабной карте, что вы на дороге в Версаль.

Подошел муж. Вид у него был растерянный, подавленный. Жена, молоденькая, хорошенькая, энергичная брюнетка, накинулась на него:

– Подойди-ка, посмотри, что ты наделал: оказывается, мы около Версаля! Взгляни на штабную карту, которую этот господин так любезно готов тебе показать. Да только разберешься ли ты в ней как следует? Боже мой! боже мой! бывают же такие тупицы! Я говорила тебе, что надо свернуть вправо, но ты, конечно, не захотел. Ты всегда убежден, что все знаешь!

Бедняга-муж, казалось, был в отчаянии.

– Но, дорогая, ведь ты же сама... – начал он было.

Но она не дала ему договорить и принялась попрекать его всю их жизнь, начиная с самой свадьбы и до настоящей минуты. А он бросал унылые взгляды на лес, как будто хотел разглядеть самую его чашу, и время от времени, словно теряя рассудок, испускал пронзительный крик, нечто вроде «тииить»; это, по-видимому, ничуть не удивляло жену, но приводило Патиссо в полное недоумение.

Вдруг молодая женщина с улыбкой обратилась к чиновнику:

– Не разрешите ли, сударь, присоединиться к вам? А то мы опять заблудимся и еще заночуем в лесу.

Он не мог отказать и поклонился с тревогой в сердце, не зная, куда их поведет.

Они шли долго; муж продолжал кричать «тииить»; настал вечер. Медленно поднималась пелена тумана, расстилающаяся в сумерках над полями. В воздухе веяло поэзией, сотканной из той особой, упоительной свежести, которая наполняет лес с приближением ночи. Молодая женщина взяла Патиссо под руку; ее розовые губки продолжали извергать упреки по адресу мужа, который, ничего не отвечая, все громче и громче завывал «тииить». Наконец чиновник спросил у него:

– Почему вы так кричите?

Тот со слезами на глазах ответил:

– Зову мою бедную собачку, она убежала.

– Как, у вас убежала собака?

– Да, она выросла в Париже и никогда не была за городом. Как увидела зелень, до того обрадовалась, что принялась скакать, точно бешеная. Она умчалась в лес и не возвращается, сколько я ее ни зову. Теперь еще там сдохнет с голоду... Тиить!

Жена пожала плечами:

– Такие дураки, как ты, не должны держать собак.

Вдруг он остановился, лихорадочно ощупывая себя руками. Она взглянула на него:

– Ну, что еще такое?

– Я забыл, что нес сюртук в руках, и выронил бумажник, а в нем деньги...

На этот раз она чуть не задохнулась от злости:

– Ах, так!.. Ступай же ищи его!

Он кротко ответил:

– Хорошо, милочка, но где же я с вами встречусь?

– В Версале! – храбро заявил Патиссо.

Он слышал, что там имеется гостиница «Резервуар», и назвал ее. Муж повернул обратно и, нагнувшись, беспокойно оглядывая землю, удалился, поминутно крича «тииить». Он медленно исчезал, пока сгущающийся мрак не поглотил его окончательно; но голос, где-то очень далеко, продолжал жалобно выкрикивать свое «тииить», все пронзительнее, по мере того как темнела ночь и угасала надежда.

Очутившись в этот томный вечерний час под густой сенью деревьев наедине с незнакомой хорошенькой женщиной, опиравшейся на его руку, Патиссо был приятно взволнован.

Впервые за всю свою эгоистическую жизнь он начал постигать прелесть и поэзию любви, сладость самозабвения, участие окружающей природы в наших ласках. Он искал любезные слова, но не находил их. Тем временем показалась проезжая дорога, справа появились дома, навстречу попался прохожий. Патиссо с трепетом спросил его, что это за местность.

– Буживаль.

– Как Буживаль? Вы уверены?

– Еще бы, я здешний.

Женщина смеялась как сумасшедшая. При мысли о заблудившемся муже она начинала хохотать до колик. Пообедали на берегу реки в деревенском кабачке. Она была очаровательна, оживлена, рассказывала множество смешных историй, начинавших кружить голову ее соседу. Потом, уходя, вдруг воскликнула:

– Ах, чуть не забыла! У меня нет ни единого су, ведь муж потерял бумажник.

Патиссо засуетился, вытащил кошелек, с готовностью одолжить ей сколько нужно, и вынул луидор, считая, что предложить меньше неудобно. Она молча протянула руку, взяла деньги, сдержанно промолвила «мерси», улыбнулась, кокетливо завязала шляпу перед зеркалом, не позволила себя провожать, потому что теперь она знает, куда идти, и наконец исчезла, упорхнула, как птица. Помрачневший Патиссо мысленно подсчитывал дневные расходы.

На следующий день у него разыгралась такая мигрень, что он не пошел в министерство.



*Помрачневший Патиссо мысленно подсчитывал дневные расходы*

## В ГОСТЯХ У ПРИЯТЕЛЯ

Всю неделю Патиссо рассказывал о своем приключении, поэтически описывая места, которые он посетил, и возмущался, что встречает вокруг себя так мало энтузиазма. Только старый, вечно хмурый экспедитор, господин Буавен, по прозвищу Буало, слушал его с неизменным вниманием. Он жил за городом и имел маленький садик, который старательно обрабатывал; по общему мнению, он довольствовался малым и был вполне счастлив. Патиссо теперь понимал его вкусы; общность интересов сблизила их. Чтобы закрепить эту зарождающуюся симпатию, дядюшка Буавен пригласил Патиссо позавтракать в следующее воскресенье в свой маленький домик в Коломб.

Патиссо выехал с восьмичасовым поездом и после долгих поисков обнаружил наконец в самом центре города узкий тупик, настоящую сточную канаву между двух высоких стен, и в самом конце ее – полусгнившую калитку, с веревкой, накрученной на два гвоздя, вместо запора. Открыв калитку, он очутился лицом к лицу с неопишным существом, которое, по-видимому, все же было женщиной. Грудь ее была обмотана грязным тряпьем, юбка ключьями свисала с бедер, в растрепанных волосах трепетали голубиные перья. Она разъяренно уставилась на гостя маленькими серыми глазками и, помолчав с минуту, спросила:

– Чего вам?

– Господин Буавен живет здесь?

– Здесь. А на что он вам, господин Буавен?

Патиссо растерялся:

– Да... он меня ждет.

Вид у нее стал еще более свирепый.

– А, так это вы явились завтракать?

Дрожащим голосом он прошептал: «Да». Повернувшись к дому, она яростно крикнула:

– Буавен, вот твой гость!

Коротышка Буавен тотчас же появился на пороге какого-то оштукатуренного сарая, крытого жестью, одноэтажного, похожего на грелку для ног. Он был в белых нанковых штанах с пятнами от кофе и в засаленной панаме. Пожав Патиссо обе руки, он увел его в свой так называемый сад: это был клочок земли величиной с носовой платок, в конце другого грязного прохода, окруженный такими высокими домами, что солнце заглядывало сюда не более чем на два-три часа в день. Анютины глазки, гвоздики, желтофиоли и несколько розовых кустов чахли на дне этого колодца; здесь совершенно не было воздуха, но стояла жара, как в печи, от раскаленных солнцем крыш.

– Деревьев у меня нет, – говорил Буавен, – но их заменяют соседские стены; тенисто, как в лесу.

Он взял Патиссо за пуговицу.

– Окажите мне услугу. Вы видели хозяйку; она не больно-то приветлива, не правда ли? Но это еще что, подождите завтрака! Представьте себе, она отнимает у меня служебный костюм, чтобы я сидел дома, и дает мне такое тряпье, в котором невозможно показаться в городе. Сегодня-то я еще одет прилично: предупредил ее, что мы с вами пообедаем вместе. Это дело решенное. Но я не могу полить цветы – боюсь испачкать брюки. А уж если испачкаю, все погибло! Вот я и надеялся на вас. Хорошо?

Патиссо согласился, снял сюртук, засучил рукава и принялся изо всех сил качать ручку насоса. Тот свистел, пыхтел, хрипел, как чахоточный, но выпускал всего лишь тоненькую струйку воды, точь-в-точь как в фонтанчике Уоллеса. Ушло десять минут на то, чтобы наполнить лейку. Патиссо обливался потом. Дядюшка Буавен руководил им:

– Сюда, вот на этот цветок... еще немножко... Достаточно... Теперь сюда...

Дырявая лейка протекала, и на ноги Патиссо лилось больше воды, чем на цветы; брюки его намокли снизу и пропитались грязью. Двадцать раз подряд начинал он сызнава, снова обливал ноги, снова потел, скрипя рукояткой насоса, а когда, выбившись из сил, остановился, дядюшка Буавен умоляюще потянул его за руку:

– Ну, еще одну лейку... только одну, и довольно.

В благодарность он поднес Патиссо розу, но настолько уже распустившуюся, что, коснувшись сюртука, она осыпалась, оставив в петлице некое подобие зеленоватой груши, чем Патиссо был крайне удивлен. Из деликатности он ничего не сказал, а Буавен сделал вид, что ничего не заметил.

Но вот издали послышался голос госпожи Буавен:

– Идете вы наконец? Говорят вам, что готово.

И они направились к грелке, трепеща, как преступники.

Сад был в тени, но дом зато находился на самом солнцепеке; никакая жаркая баня не могла сравниться с его комнатами.

Три тарелки с плохо вымытыми оловянными приборами по бокам стояли на сосновом столе, липком от застарелого сала; в глиняном горшке с разогретой бурдой плавали остатки вчерашней говядины и картошка, покрытая пятнами.

Сели. Принялись за еду.

Большой графин с водой, чуть подкрашенной вином, обратил на себя внимание Патиссо. Смущенный Буавен обратился к жене:

– Послушай, душенька, не дашь ли ты нам ради такого случая неразбавленного вина?

Она яростно уставилась на него:

– Чтобы вы оба нализались, не так ли? И чтобы горланили у меня целый день? Спасибо за такой случай!

Он замолчал. После рагу она принесла блюдо картошки, приправленной совершенно прогорклым свиным салом. Когда и это кушанье было съедено в том же молчании, она объявила:

– Все. Можете отправляться.

Буавен был ошеломлен:

– А голубь? А как же голубь, которого ты ошипывала утром?

Она уперлась руками в бока:

– Вам этого, быть может, мало? Если приводишь гостей, так это еще не основание, чтобы сожрать все, что есть в доме. А что же, по-твоему, я буду есть вечером, а?

Мужчины встали, вышли за дверь, и дядюшка Буавен, по прозвищу Буало, шепнул Патиссо:

– Обождите минутку, сейчас мы удерем.

Он прошел в соседнюю комнату, чтобы закончить свой туалет, и Патиссо услышал следующий диалог:

– Душенька, дай мне двадцать су.

– На что тебе двадцать су?

– Ну, мало ли что может случиться; всегда хорошо иметь при себе деньги.

Она завопила так, чтобы ее слышно было снаружи:

– Нет, денег я тебе не дам. Раз этот человек завтракал у тебя, так пусть хоть оплатит твои сегодняшние расходы.

Дядюшка Буавен вернулся к Патиссо, и тот стал вежливо раскланиваться с хозяйкой:

– Сударыня... разрешите поблагодарить... ваш любезный прием...

Она ответила:

– Ладно! Смотрите только, не приводите его пьяным, а то будете иметь дело со мной.

Понятно?

И они ушли.

Они выбрались на берег Сены, напротив островка, поросшего тополями. Буавен, нежно поглядывая на реку, сжал руку соседа:

– Каково, господин Патиссо? Еще неделька, и мы с вами отправимся.

– Куда, господин Буавен?

– Да на рыбную ловлю: ведь она открывается пятнадцатого.

Патиссо ощутил легкий трепет, как при первой встрече с женщиной, которая сразу овладевает вашей душой.

– А! Так вы рыболов, господин Буавен? – спросил он.

– Рыболов ли я! Да рыбная ловля – моя страсть!

Патиссо принялся расспрашивать его с глубоким интересом. Буавен назвал ему всех рыб, плавающих в этой черной воде... Патиссо казалось, что он видит их. Буавен перечислил ему все крючки, приманки, места и время лова каждой рыбы. И Патиссо чувствовал, что становится еще более страстным рыболовом, чем сам Буавен. Они условились в следующее же воскресенье отправиться вместе на открытие сезона; там будет начато обучение Патиссо, который поздравлял себя с тем, что нашел такого опытного руководителя.

Пообедать они зашли в какой-то мрачный притон, где собирались лодочники и разный окрестный сброд. У входа дядюшка Буавен счел нужным предупредить:

– Здесь неказисто, но очень уютно.

Сели за столик. Уже после второго стакана аржантейля Патиссо понял, почему госпожа Буавен угощает мужа лишь подкрашенной водицей: коротышка сразу потерял голову, пустился в разглагольствования, вскочил, стал показывать свою силу, ввязался как миротворец в ссору двух подравшихся пьяниц; не вступись хозяин, его, наверное, пришибли бы вместе с Патиссо. За кофе он был уже так пьян, что не стоял на ногах, хотя друг его и прилагал все усилия, чтобы не дать ему напиться; когда они вышли, Патиссо вынужден был вести его под руку.

Они углубились в ночную тьму, нависшую над равниной, сбились с дороги, плутали долгое время и вдруг очутились среди целого леса кольев, доходивших им до самого носа. Это был виноградник с подвязанными лозами. Они долго бродили по нему, испуганные, сбитые с толку, возвращаясь по своим следам и не находя выхода. Наконец дядюшка Буавен, по прозвищу Буало, упал на кол и разордал себе физиономию; нимало этим не смущаясь, он остался сидеть на земле, вопя во всю глотку с упорством пьяного, выкрикивая громкие и протяжные «ла-и-ту», в то время как перепуганный Патиссо взывал во все стороны:

– Эй, кто там! Эй, кто там!

Какой-то запоздалый крестьянин пришел к ним на помощь и вывел их на дорогу.

Приближаясь к дому Буавенов, Патиссо чувствовал, что его охватывает ужас. Наконец они добрались до калитки. Она внезапно распахнулась, и перед ними подобно древней фурии предстала госпожа Буавен со свечою в руке. Окинув взглядом мужа, она ринулась на Патиссо с воплем:

– Ах, каналья! Я так и знала, что вы его напоите!

Бедняга, обезумев от страха, выпустил своего приятеля, рухнувшего в жирную грязь тупика, и со всех ног бросился бежать на вокзал.

## РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Накануне того дня, когда ему предстояло впервые закинуть удочку в реку, господин Патиссо приобрел за восемьдесят сантимов книжечку «Идеальный удильщик». Он почерпнул из этого труда уйму полезных сведений, но особенно его поразил стиль, и ему запомнился следующий отрывок:

«Одним словом, – желаете ли вы без хлопот, без предварительных справок, без руководства, добиться успеха и с неизменной удачей закидывать удочку вправо, влево или перед

собою, вниз или вверх по течению, и вдобавок с тем победоносным видом, который не ведает трудностей? В таком случае удите перед грозой, во время грозы и после грозы, когда небо разверзается и его бороздят огненные стрелы, когда земля сотрясается от долгих раскатов грома: тогда, побуждаемые жадностью или ужасом, все рыбы, обеспокоенные, мечущиеся, забывают свои повадки во всеобщей тревоге. Пользуясь этим смятением, идите удить, сообразуясь или, наоборот, не считаясь с обычными приметам удачной ловли, – вы идете к победе!»

Чтобы ловить одновременно рыб разной величины, Патиссо купил три усовершенствованных орудия лова, которые могли служить тросточкой в городе, удочкой на реке и бесконечно вытягивались при простом встряхивании. Для пескарей он купил крючки № 15, для леща – № 12, а с помощью № 7 рассчитывал наполнить свою корзинку карпами и усачами. Он не купил мотыля, в уверенности, что найдет его повсюду, но запаса мясными червячками. Их у него оказалась полная банка, и вечером он принялся их разглядывать. Омерзительные твари, распространяя гнусное зловоние, кишели в отрубях, как в тухлом мясе. Патиссо решил заранее попрактиковаться в насаживании их на крючок. Он с отвращением взял червяка, но тот, прикоснувшись к стальному изогнутому острию, лопнул и весь вытек. Патиссо попробовал раз двадцать, и каждый раз безуспешно; он просидел бы за этим занятием всю ночь, если бы не боялся истощить весь свой запас.

Он выехал с первым поездом. Вокзал был наполнен людьми, вооруженными удочками. Одни из этих удочек представляли собою, как у Патиссо, простые бамбуковые тросточки, другие, из целого бамбука, высоко возносились в воздух, суживаясь к концу. Это был целый лес тонких прутьев, и они все время сталкивались, сплетались, скрещивались, как шпаги, или качались, как мачты, над океаном широкополых соломенных шляп.

Когда паровоз тронулся, они торчали изо всех дверей; все площадки из конца в конец были утыканы ими; поезд стал похож на длинную гусеницу, извивающуюся по равнине.

В Курбева все сошли; безонский дилижанс брали приступом. Верх был битком набит рыболовами, и так как все они держали удочки в руках, то старая колымага уподобилась огромному дикобразу.

На протяжении всей дороги попадавшиеся мужчины шли только в одну сторону, как бесчисленные паломники в некий неведомый Иерусалим. Они несли длинные палки, суживающиеся к концу, похожие на посохи древних пилигримов, вернувшихся из Палестины, а за спинами у них прыгали жестяные коробки. И все они спешили.

В Безонсе показалась река. По обоим ее берегам расположились удильщики – мужчины в сюртуках, в полотняных куртках, в блузах, женщины, дети, даже взрослые девушки на выданье.

Патиссо дошел до шлюза, где ждал его приятель Буавен. Но последний встретил его холодно. Он только что познакомился с толстым господином, лет пятидесяти; это был, по видимому, опытный рыболов, лицо его сильно загорело от солнца. Они втроем наняли большую лодку и остановились у самых ворот, у водослива, где в омуте рыба ловится лучше всего.

Буавен мигом закончил все приготовления, насадив червя, закинул удочки и застыл в неподвижности, напряженно следя за поплавком. Время от времени он вытягивал лесу из воды, чтобы забросить ее подальше. Толстый господин, закинув в реку крючки с обильной насадкой, положил удилице подле себя, набил трубку, закурил и, скрестив руки, стал смотреть, как течет вода, не обращая ни малейшего внимания на поплавок. Патиссо опять принялся давить червей. Минут через пять он окликнул Буавена:

– Господин Буавен, не будете ли добры насадить мне червячка? Сколько я ни бьюсь, ничего не выходит.

Буавен поднял голову:

– Я попросил бы вас не мешать, господин Патиссо. Мы здесь не для забавы.

Но он все-таки нацепил червяка, и Патиссо закинул удочку, старательно подражая каждому движению приятеля.

Лодка, причаленная к водосливу, плясала на воде; волны качали ее, а внезапные водовороты кружили, как волчок, хотя она и была привязана с обоих концов; как ни был Патиссо поглощен ловлей, он стал ощущать смутное недомогание, тяжесть в голове, непонятное головокружение.

Рыба не клевала. Дядюшка Буавен отчаянно нервничал, жестикулировал, безнадежно качал головой. Патиссо страдал так, словно произошло несчастье, и только толстый господин по-прежнему неподвижно и спокойно курил трубку, не заботясь о своей удочке. Наконец Патиссо в отчаянии повернулся к нему и сказал убитым голосом:

– Не клюет!

Тот ответил просто:

– Ни черта.

Патиссо удивленно взглянул на него:

– А что, у вас бывают хорошие уловы?

– Никогда.

– Как никогда?

Тут толстяк, дымя, как фабричная труба, изрек следующие слова, глубоко возмущившие его соседа:

– Да мне бы только мешало, если бы начался клев. Я приезжаю сюда вовсе не рыбу ловить, а потому, что здесь хорошо: качает, как в море. Если я беру удочку, так только для того, чтобы не отличаться от других.

Но господину Патиссо было, наоборот, совсем не хорошо. Его недомогание, сначала неопределенное, все усиливалось и наконец дало себя знать. Качало действительно как в море, и у него началась морская болезнь.

Когда первый приступ немного утих, он предложил вернуться, но взбешенный Буавен чуть не вцепился ему в физиономию. Однако толстяк, сжалившись, решительно повел лодку к берегу. Когда дурнота Патиссо прошла, возник вопрос о завтраке.

К их услугам имелось два ресторана.

В одном из них, маленькой харчевне, собирался разный мелкий люд, приезжающий на ловлю. Другой, под названием «Липы», походил на буржуазную виллу и обслуживал аристократов с удочками. Оба хозяина, заклятые враги, с ненавистью переглядывались через разделявший их большой участок, на котором стоял белый дом, где жили смотритель рыбной ловли и шлюзник. Власти эти, впрочем, тоже разделились: один стоял за харчевню, другой – за «Липы»; внутренние раздоры этих трех домов, стоящих на отшибе, повторяли историю всего человечества.

Буавен был завсегдатаем харчевни.

– Там очень хорошо кормят и недорого. Вот увидите. Между прочим, господин Патиссо, не воображайте, что вам удастся меня напоить, как в прошлое воскресенье; моя жена, знаете, ужасно сердилась и поклялась, что никогда вам этого не простит!

Толстый господин заявил, что будет завтракать только в «Липах»; он утверждал, что это прекрасное заведение, где готовят, как в лучших ресторанах Парижа.

– Как хотите, – сказал Буавен, – а я пойду туда, где привык бывать.

И он ушел. Патиссо, недовольный своим приятелем, последовал за толстым господином.

Позавтракав вдвоем, они обменялись мнениями, поделились впечатлениями и убедились в том, что созданы решительно друг для друга.

После еды ловля возобновилась, но теперь новые друзья пошли вдоль крутого берега и, не прекращая беседы, закинули удочки у железнодорожного моста. Не клевало по-прежнему; впрочем, теперь Патиссо примирился с этим.

К ним подошло целое семейство. Отец с бакенбардами, подстриженными, как у чиновника, держал невероятно длинную удочку; трое детей, все мальчишки, разного роста, несли бам-

буковые прутья различной длины, соответственно возрасту; мать, претолстая особа, грациозно маневрировала прелестною удочкой-тросточкой с бантом на ручке. Отец поклонился:

– Скажите, господа, это хорошее место?

Патиссо собирался было ответить, но его сосед заявил:

– Превосходное.

Семейство заулыбалось и разместилось вокруг обоих удильщиков. Патиссо вдруг безумно захотелось поймать рыбу, хоть одну-единственную, все равно какую, хоть с муху, чтобы внушить этим людям уважение к себе, и он начал проделывать своей удочкой такие же маневры, какие делал утром Буавен. Он давал поплавку спуститься по течению во всю длину лезы, подсекал, вытаскивал ее из воды, а потом, описав в воздухе большой круг, закидывал ее в воду на несколько метров дальше. Ему казалось, что он уже приобрел известный шик и делает это движение довольно элегантно, как вдруг удочка, которую он быстрым рывком вытащил из воды, за что-то сзади зацепилась. Он дернул, за его спиной раздался отчаянный крик, и он увидел, как в небе, наподобие метеора, описывает дугу, повиснув на одном из его крючков и опускаясь как раз на середину реки, нарядная дамская шляпка, отделанная цветами.

Он испуганно обернулся и выронил удочку, которая понеслась по течению следом за шляпой. Толстяк, его новый друг, опрокинувшись на спину, хохотал во все горло. Дама, рас-трепанная, ошеломленная, задыхалась от злости, а супруг ее, тоже рассерженный, требовал, чтобы ему возместили стоимость шляпы. Патиссо пришлось заплатить за нее втридорога.

После этого семейство с достоинством удалилось.

Патиссо взял другую удочку и купал червяков до самого вечера. Его сосед спокойно спал на траве. Он проснулся около семи часов.

– Пойдемте, – сказал он.

Патиссо вытащил удочку, вскрикнул и от изумления присел. На конце лезы болталась крошечная рыбешка. Когда они рассмотрели ее поближе, то увидели, что рыбка зацепилась брюшком; крючок подхватил ее на лету, когда вытаскивали удочку.

Все же это была победа, и радость рыбакова не знала границ. Патиссо потребовал, чтобы рыбку поджарили для него одного.

За обедом дружба с новым знакомым упрочилась. Патиссо узнал, что он не служит, живет в Аржантей уже тридцать лет, занимается парусным спортом, и принял его приглашение позавтракать с ним в следующий воскресный день, а потом совершить прогулку на «Нырке» – клипере своего нового друга.

Разговор был так увлекателен, что Патиссо забыл о своем улове.

Он вспомнил о нем уже после кофе и потребовал, чтобы ему подали его рыбу. На тарелке лежало нечто вроде желтоватой кривой спички. Но он все же с гордостью съел ее и вечером в omnibusе рассказывал соседям, что поймал за день четырнадцать фунтов рыбы.

## ДВЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

Господин Патиссо обещал своему новому другу, любителю лодочного спорта, провести с ним следующее воскресенье. Непредвиденное обстоятельство изменило его планы. Как-то вечером он повстречал на бульваре своего кузена, с которым виделся редко. Это был журналист, очень общительный, всюду вхожий, и он предложил Патиссо показать ему кое-что интересное.

– Что вы делаете, например, в воскресенье?

– Еду в Аржантей кататься на лодке.

– Бросьте! Вот уж тоска, это катание на лодке. Вечно одно и то же. Знаете что, я возьму вас с собой. Я познакомлю вас с двумя знаменитостями, покажу вам, как живут писатели и художники.

– Но мне предписано выезжать за город!

– Мы и поедем за город. Сначала, по пути, нанесем визит Мейсонье, в его усадьбе в Пуасси, а оттуда пешком пройдем в Медан, где живет Золя: мне поручено попросить у него следующий роман для нашей газеты.

Патиссо согласился, не помня себя от радости.

Он даже купил новый сюртук – старый был уже немного потерт, – чтобы иметь более представительный вид. И он очень боялся не сказать бы какой-нибудь глупости в присутствии художника или писателя, как бывает с людьми, когда они говорят об искусстве, к которому не имеют никакого отношения.

Он поделился своими страхами с кузенком, но тот только посмеялся:

– Ба! Говорите комплименты, все время комплименты, ничего, кроме комплиментов; тогда любая глупость проходит незамеченной. Вам знакомы картины Мейсонье?

– Ну еще бы!

– А «Ругон-Маккаров» вы читали?

– От первого тома до последнего.

– Так чего же еще! Время от времени упомяните о какой-нибудь картине, процитируйте что-нибудь из романа и при этом прибавляйте: «Великолепно!!! Необыкновенно!!! Изумительное мастерство!! Поразительно!» – и так далее. Таким образом вы всегда выйдете из положения. Правда, эти двое достаточно пресыщены, но, знаете, похвала всегда приятна художнику.

В воскресенье они с утра отправились в Пуасси. В нескольких шагах от вокзала, в конце церковной площади, они отыскивали усадьбу Мейсонье. Пройдя через низкие ворота, выкрашенные в красный цвет, за которыми начиналась великолепная крытая виноградная аллея, журналист остановился и обратился к своему спутнику:

– Как вы себе представляете Мейсонье?

Патиссо колебался. Наконец он собрался с духом:

– Маленького роста, подтянутый, бритый, похож на военного.

Журналист улыбнулся:

– Так. Ну, пойдёмте.

Слева показалось строение причудливой формы, похожее на дачу, а справа, почти напротив, но несколько ниже, главный дом. Это было необыкновенное здание, в котором соединилось решительно все: готическая крепость, замок, вилла, хижина, особняк, собор, мечеть, пирамида, торт, Восток и Запад. Это был стиль невероятно вычурный, который мог бы свести с ума архитектора-классика, нечто фантастическое и все же красивое, изобретенное самим художником и выполненное по его указаниям.

Они вошли. Небольшая гостиная была загромождена чемоданами. Появился небольшого роста мужчина в тужурке. Что поражало в нем – это его борода, борода пророка, неправдоподобная, настоящая река, сплошной поток, не борода, а Ниагара. Он поздоровался с журналистом:

– Извините, дорогой мой, я только вчера приехал, и у меня еще все вверх дном. Садитесь, пожалуйста.

Журналист отказался:

– Дорогой мэтр, я всего лишь мимоходом явился засвидетельствовать вам свое почтение.

Патиссо в крайнем замешательстве, кланяясь каким-то автоматическим движением при каждом слове своего друга, пробормотал, запинаясь:

– Какая же... великолепная усадьба!

Польщенный художник улыбнулся и предложил гостям осмотреть ее.

Сначала он провел их в небольшой павильон, обставленный в средневековом духе, где находилась его прежняя мастерская, выходившая на террасу. Потом они прошли гостиную, столовую, вестибюль, наполненные чудеснейшими произведениями искусства, прекрасными

вышивками из Бове, гобеленами, фландрскими коврами. Затеяливая роскошь наружных украшений сменилась внутри необыкновенным обилием лестниц. Великолепная парадная лестница, потайная лестница в одной из башенок, лестница для прислуги в другой – лестницы на каждом шагу! Патиссо нечаянно открыл одну дверь и попятился в изумлении. Это место, название которого благовоспитанные люди произносят не иначе как по-английски, напоминало собою храм, оригинальное и очаровательное святилище, изысканное, разукрашенное, как пагода; на убранство его было, несомненно, затрачено немало усилий творческой мысли.

Потом они осмотрели парк, глухой, с вековыми деревьями, полный неожиданных поворотов. Но журналист решительно начал откланиваться и, рассыпаясь в благодарностях, простился с художником. При выходе им повстречался садовник, и Патиссо спросил его:

– Давно ли господин Мейсонье приобрел все это?

Тот ответил:

– Да как вам сказать, сударь? Землю-то он купил в тысяча восемьсот сорок шестом году, но дом!!! Дом он уже раз пять или шесть сносил и опять отстраивал. Я уверен, сударь, что сюда вколочено миллиона два, не меньше.

И Патиссо удалился, преисполненный глубочайшего уважения к художнику, не столько из-за его огромного успеха, славы и таланта, сколько потому, что он истратил такие деньги ради своей фантазии, тогда как обыкновенные буржуа отказываются от всякой фантазии, лишь бы копить деньги.

Пройдя Пуасси, они отправились пешком в Медан. Дорога идет сначала вдоль Сены, усеянной в этом месте прелестными островками, потом поднимается, пересекая красивую деревушку Виллен, снова немного спускается и приводит наконец в городок, где живет автор «Ругон-Маккаров».

Сначала с левой стороны показалась церковка, старинная, изящная, с двумя башенками по бокам. Они прошли еще несколько шагов, и встречный крестьянин указал им двери писателя.

Прежде чем войти, они оглядели здание. Большое квадратное строение, новое, очень высокое, казалось, породило, как гора в басне, крошечный белый домик, притулившийся у его подножия. Этот домик – первоначальное жилище – был построен прежним владельцем. Башню же воздвиг Золя.

Они позвонили. Большая собака, помесь сенбернара с ньюфаундлендом, зарычала так грозно, что у Патиссо возникло желание повернуть назад. Но прибежал слуга, успокоил *Бертрана*, распахнул двери и взял визитную карточку журналиста, чтобы передать ее хозяину.

– Только бы он нас принял! – шептал Патиссо. – Было бы ужасно обидно прийти сюда и не увидеть его.

Его спутник улыбнулся:

– Не бойтесь. Я знаю, как до него добраться.

Вернувшийся слуга пригласил их следовать за ним.

Они вошли в новое здание, и Патиссо, задыхаясь от волнения, стал подниматься по старомодной лестнице, ведущей во второй этаж.

Он пытался представить себе этого человека, звонкое и славное имя которого раздается сейчас во всех концах света, вызывая бешеную ненависть одних, искреннее или притворное негодование светских людей, завистливое презрение некоторых собратьев, уважение массы читателей и безграничный восторг большинства; Патиссо ожидал, что перед ним предстанет бородатый великан с громовым голосом, грозный и неприступный на вид.

Дверь открылась в необъятную, высокую комнату, освещенную огромным, во всю стену окном, выходящим на равнину. Старинные вышивки покрывали стены; слева был монументальный камин с человеческими фигурами по бокам, в котором за день можно было бы сжечь столетний дуб; широкий стол, заваленный книгами, бумагами, газетами, занимал середину

этого помещения, настолько просторного и грандиозного, что оно сразу останавливало на себе внимание, и лишь потом замечали человека, лежащего на восточном диване, на котором могло бы уместиться двадцать человек.

Он встал, сделал несколько шагов им навстречу, поклонился, указал рукой на два кресла и опять сел на диван, подогнув под себя ногу. Рядом с ним лежала книга; правой рукой он вертел нож из слоновой кости для разрезания бумаги и время от времени разглядывал его кончик, близоруко прищуривая глаза.

Пока журналист излагал цель своего посещения, а писатель слушал, ничего не отвечая и только изредка пристально поглядывая на него, Патиссо, все более и более смущаясь, созерцал знаменитого человека.

Ему было лет сорок, не больше, он был среднего роста, довольно плотный, добродушный на вид. Голова его (очень похожая на те, что встречаются на многих итальянских картинах XVI века), не будучи красивой пластически, отличалась характерным выражением силы и ума. Коротко подстриженные волосы торчком стояли над сильно развитым лбом. Прямой нос, как бы срезанный слишком быстрым ударом резца, круто обрывался над верхней губой, затененной густыми черными усами; подбородок скрывала короткая борода. Взгляд черных глаз, часто иронический, был пронизителен; чувствовалось, что за ним работает неутомимая мысль, разгадывая людей, истолковывая их слова, анализируя жесты, обнажая сердца. Эта круглая, мощная голова хорошо подходила к имени – быстрому, краткому, в два слога, взлетающих в гулком звучании гласных.

Когда журналист изложил свое заманчивое предложение, писатель ответил, что не хочет связывать себя обещанием, но что подумает об этом, а сейчас у него еще недостаточно определенлся самый план. После чего он замолчал. Это означало, что прием окончен, и оба посетителя, немного сконфуженные, поднялись. Но тут господину Патиссо ужасно захотелось, чтобы этот знаменитый человек сказал ему хоть слово, хоть какое-нибудь слово, которое он мог бы повторять своим коллегам. И, набравшись духу, он пробормотал:

– О сударь, если бы вы знали, как я восхищаюсь вашими произведениями!

Писатель поклонился, но ничего не ответил. Патиссо, осмелев, продолжал:

– Для меня такая честь говорить сегодня с вами.

Писатель поклонился еще раз, но сухо и несколько нетерпеливо. Патиссо заметил это, растерялся и добавил, пятась:

– Какой... ве... ве... великолепный дом.

И тут в равнодушном сердце писателя проснулось вдруг чувство собственника: улыбаясь, он распахнул окно, чтобы показать открывающуюся отсюда перспективу. Беспредельный горизонт простирался во все стороны: Триель, Пис-Фонтен, Шантелу, все высоты Отри, Сена – насколько хватал глаз. Восхищенные посетители рассыпались в похвалах, и перед ними раскрылся весь дом. Им показали все, вплоть до шегольской кухни, где стены и даже потолок были выложены фаянсовыми с голубым узором изразцами, возбуждавшими удивление крестьян.

– Как вы купили этот дом? – спросил журналист.

И писатель рассказал, что, подыскивая дачу на лето, он случайно наткнулся на маленький домик, примыкавший к новому зданию; его отдавали за несколько тысяч франков, за безделицу, почти даром. Писатель тут же купил его.

– Но все, что вы к нему пристроили потом, должно быть, обошлось недешево?

Писатель улыбнулся:

– Да, немало стоило.

И посетители удалились.

Журналист, взяв Патиссо под руку, рассуждал:

– У каждого генерала есть свое Ватерлоо, у каждого Бальзака свое Жарди, и каждый творец, живущий за городом, в глубине души – собственник.

Они сели в поезд на станции Виллэн. В вагоне Патиссо особенно громко произносил имена знаменитого художника и великого писателя, как будто это были его друзья. Он даже старался дать понять, что завтракал с одним и пообедал у другого.

## ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Праздник приближается; по улицам уже пробегает трепет ожидания, как рябь по воде перед бурей. Магазины, убранные флагами, разукрасили свои двери цветными тканями, веселящими глаз, и галантерейные торговцы обсчитывают на трехцветных товарах не хуже, чем бакалейщики на свечах. Сердца понемногу воспламеняются: о празднике толкуют после обеда, на тротуарах; рождаются мысли, которыми надо обменяться.

– Какой это будет праздник, друзья, какой праздник!

– Как, вы не знаете? Все короли приедут инкогнито, как простые люди, чтобы посмотреть на него.

– Говорят, русский император уже приехал. Он будет появляться всюду вместе с принцем Уэльским.

– О, праздник будет на славу!

То, что господин Патиссо, парижский буржуа, называет праздником, будет действительно всем праздникам праздник – невообразимая толча, когда в течение пятнадцати часов по городу из конца в конец катится поток физических уродств, разукрашенных мишурой, волны потных тел, где бок о бок с толстой кумушкой в трехцветных лентах, разжиревшей за прилавком, охающей от одышки, толкуются и рахитичный служащий, волочащий за собой жену и младенца, и рабочий, посадивший своего малыша к себе на плечи, и растерянный провинциал с физиономией ошалевшего кретина, и небритый конюх, от которого еще несет конюшней. Тут и иностранцы, наряженные, как обезьяны, и англичанки, похожие на жирафов, и водовоз, умывшийся для такого случая, и несчетная фаланга мелких буржуа, безобидных рантье, которых занимает решительно все. О, толкотня, усталость, пот, пыль, брань, водоворот человеческих тел, отдавленные мозоли, полное отупение мыслей, отвратительные запахи, бесцельная суетня, дыхание толпы, чесночный дух, – дайте, дайте господину Патиссо всю радость, какую способно вместить его сердце!

Он начал готовиться к празднику, как только прочел на стенах своего округа воззвание мэра.

Эта проза гласила:

«Я особенно обращаю ваше внимание на характер частного празднования. Украшайте жилища флагами, иллюминируйте окна. Соединяйтесь, устраивайте складчину, дабы придать вашему дому, вашей улице более нарядный, более художественный вид, чем у соседних домов и улиц».

И господин Патиссо старательно принялся обдумывать, как придать художественный вид своему жилищу.

Было одно серьезное препятствие. Его единственное окно выходило во двор, в темный, узкий, глубокий двор, где разве только крысы увидели бы три его венецианских фонарика.

Нужен был вид на улицу. И Патиссо нашел его. Во втором этаже дома жил богатый человек, дворянин и роялист, у которого был кучер, тоже реакционер, помещавшийся на седьмом этаже в мансарде с окном на улицу. Считая, что за известную мзду можно купить любую совесть, господин Патиссо предложил этому мастеру кнута сто су с тем, чтобы тот уступил ему свою комнату с полудня до полуночи. Предложение было немедленно принято.



*Предложение было немедленно принято*

Тогда Патиссо начал хлопотать об убранстве.

Три флага, четыре фонарика – достаточно ли их, чтобы придать этой табакерке художественный вид, чтобы выразить весь пыл души?.. Конечно, нет! Но, несмотря на долгие поиски и ночные размышления, господин Патиссо ничего другого не придумал. Он обращался к соседям, которых удивляли его вопросы, советовался с сослуживцами... Все закупили фонари и флаги, а для дневных часов трехцветные украшения.

Надеясь все же набрести на какую-нибудь оригинальную идею, он стал ходить по кафе и заговаривать с посетителями, но им не хватало воображения. Как-то утром он ехал на имперiale омнибуса. Господин почтенного вида, сидевший рядом с ним, курил сигару; немного дальше рабочий посасывал трубку; два оборванца зубоскалили подле кучера; служащие всех рангов, уплатив три су, ехали по своим делам.

Перед магазинами в лучах восходящего солнца пестрели флаги. Патиссо обратился к своему соседу.

– Какой прекрасный будет праздник! – сказал он.

Тот взглянул на него исподлобья и пробурчал:

– Вот уж что мне безразлично.

– Как, вы не собираетесь в нем участвовать? – спросил удивленный чиновник.

Тот презрительно покачал головой.

– Они мне попросту смешны со своим праздником! В честь кого праздник?.. В честь правительства?.. Я лично, сударь, никакого правительства не знаю.

Патиссо, уязвленный этими словами как правительственный чиновник, отчеканил:

– Правительство, сударь, – это республика.

Но сосед, нисколько не смутясь, спокойно засунул руки в карманы.

– Ну и что же? Против этого я не возражаю. Республика или что другое – мне наплевать. Я, сударь, хочу одного: я хочу знать свое правительство. Я, сударь, видел Карла Десятого и стоял за него; я, сударь, видел Луи-Филиппа и стоял за него; я видел Наполеона и стоял за него; но я ни разу не видел республики.

Патиссо отвечал все с той же важностью:

– Республика, сударь, представлена в лице президента.

Сосед проворчал:

– Ну, так пускай мне его покажут.

Патиссо пожал плечами:

– Все могут его видеть, он в шкафу не спрятан.

Но почтенный господин вспыхнул:

– Нет, сударь, извините, его нельзя видеть! Сотню раз я пытался это сделать, сударь. Я сторожил у Елисейского дворца: он не вышел. Какой-то прохожий уверил меня, что он играет на бильярде в кафе напротив; я пошел в кафе напротив – его там не оказалось. Мне обещали, что он поедет в Мелен на состязания. Я поехал в Мелен, но не видел его. Мне это наконец надоело. Я вот и господина Гамбетту не видел и даже ни одного депутата не знаю.

Он горячился все сильнее:

– Правительство, сударь, должно показываться: для того оно и существует, а не для чего другого. Надо, чтобы все знали, что в такой-то день, в такой-то час правительство проедет по такой-то улице. Таким образом, все смогут туда пойти, и все будут довольны.

Успокоенному Патиссо эти доводы пришлись по вкусу.

– Это правда, – сказал он, – всегда приятно знать тех, кто вами управляет.

Господин продолжал уже более миролюбиво:

– Знаете, как я лично представляю себе такой праздник? Я устроил бы шествие с позолоченными колесницами вроде коронационных королевских карет и целый день катал бы в них по всему Парижу членов правительства, начиная с президента и кончая депутатами. Тогда, по крайней мере, каждый знал бы правительство в лицо.

Но тут один из оборванцев, сидевших рядом с кучером, обернулся.

– А масленичного быка куда посадите? – спросил он.

По обеим скамьям среди публики пробежал смешок, и Патиссо, поняв возражение, пробормотал:

– Это, пожалуй, не совсем подходит.

Господин подумал немного и согласился.

– Ну, тогда, – сказал он, – я посадил бы их куда-нибудь на видное место, чтобы все могли без помехи смотреть на них; хоть на Триумфальную арку на площади Этуаль, и пусть перед ними продефилирует все население. Это было бы очень пышно.

Оборванец обернулся еще раз.

– Придется в телескопы смотреть, чтобы разглядеть их рожи.

Господин, не отвечая, продолжал:

– Вот тоже вручение знамен. Надо было бы придумать какой-нибудь повод, организовать что-нибудь, ну, хоть маленькую войну, а потом вручать войскам знамена как награду. У меня была одна идея, и я даже написал о ней министру, но он не удостоил меня ответом. Если выбрали годовщину взятия Бастилии, то нужно было бы инсценировать это событие. Можно соорудить картонную крепость, дать ее раскрасить театральному декоратору и спрятать за ее стенами Июльскую колонну. А потом, сударь, войска пошли бы на приступ. Какое грандиозное и вместе с тем поучительное зрелище: армия сама низвергает оплоты тирании! А дальше эту крепость поджигают, и среди пламени появляется колонна с гением Свободы, как символ нового порядка и раскрепощения народов.

На этот раз его слушала вся публика империи, находя мысль превосходной. Какой-то старик заметил:

– Это великая мысль, сударь, и она делает вам честь. Достоин сожаления, что правительство ее не приняло.

Какой-то молодой человек объявил, что хорошо было бы, если бы актеры читали на улицах «Ямбы» Барбье, чтобы одновременно знакомить народ с искусствами и со свободой.

Все эти разговоры пробудили энтузиазм. Каждый хотел высказаться; страсти разгорались. Шарманщик, проходивший мимо, заиграл «Марсельезу»; рабочий запел, и все хором проревели припев. Вдохновенное пение и его бешеный темп увлекли кучера, и настегиваемые

им лошади помчались галопом. Господин Патиссо орал во всю глотку, хлопая себя по ляжкам; пассажиры, сидевшие внизу, в ужасе спрашивали себя, что за ураган разразился над их головами.

Наконец omnibus остановился, и господин Патиссо, убедившись, что его сосед – человек с инициативой, стал советоваться с ним насчет своих приготовлений к празднику.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.